
АСКАД
МУХТАР
У ВСЕХ
СВОЯ
РОДИНА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА"

Таня!
Поздравляю тебя
с днём рождения и от-
желаю тебе и даль-
ше учиться [illegible]
на отлично

16/II-67.



АСКАД МУХТАР

У ВСЕХ СВОЯ РОДИНА

РАССКАЗЫ

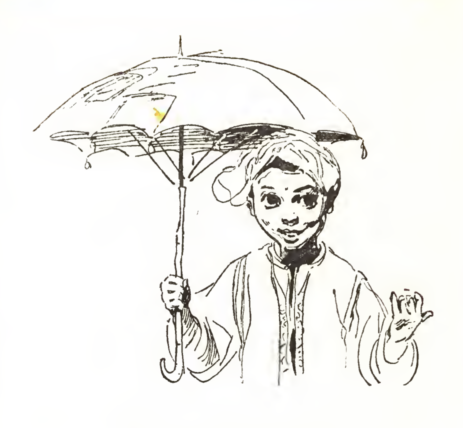
ПЕРЕВОД С УЗБЕКСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1964

С(Узб)2
М92

Писатель Аскад Мухтар побывал во многих странах мира: в Швеции и Италии, в Японии и Турции, во Франции и на Цейлоне. И так уж получалось, что всюду он встречался с детьми. Многие из этих встреч произвели на него большое впечатление. Вернувшись на родину, писатель решил рассказать о них советским школьникам. Так родилась эта книга.

Перевод М. Салиева
Рисунки Г. Филипповского



Эх вы, взрослые...

Не смотрите, что дхоти[1] на мне совсем ветхое,—я из касты брахманов. Не верите? Видите это красное пятнышко на моём лбу — оно из настоящей сандаловой краски. Видите?

В этом году в сезон дождей мне исполнится двенадцать. Зовут меня Баждáт. Хоть мы и брахманы,

[1] Дхóти — одежда мужчины.

но бедные. А если бы мы были богатые, то звали бы меня не Баждат, а Бажрадатт. Отец мой табиб[1], зарабатывает очень мало. Сидит на углу и бамбуковой лучинкой чистит уши прохожим — ну, кто пожелает, конечно.

Мама моя умерла, её придавило обвалившимся навесом.

С тех пор отец каждый день стал пороть меня розгами...

Да зачем я всё это говорю! И болтлив же я. Но что поделаешь? Стоит мне только рот открыть, и слова одно за другим сами вылетают. И как много слов носит в себе человек! Наверное, если долго молчать, то вздуешься, как мяч, и лопнешь...

А как приятно говорить! Что вы на это скажете? Ведь человек что-то любит, что-то не любит, а если не раскроешь рта, то как же другие узнают об этом.

Я, например, очень люблю дождь. Спрашиваете почему? Вот и вам интересно. Значит, надо говорить.

Я люблю дождь потому... Вы видели Висячий сад? Очень он красивый, всё время зелёный-презелёный. Оттуда весь Бомбей виден как на ладони.

Прихватив мамин зонтик, я каждый день хожу в этот сад. Там гуляют сахибы[2] и нарядные женщины. Они приезжают посмотреть нашу страну. Все они такие белые, шелка на них так и развеваются. Ну, а как польёт дождик, все вдруг начинают бегать, ищут где бы спрятаться. Тут-то я, точно в сказке, вырастаю перед ними, раскрываю свой зонтик и с улыбкой протягиваю:

---

[1] Табиб — знахарь.

[2] Сахиб — господин; здесь европеец, англичанин.

— Мэм! Сахиб!

Если, к моему счастью, дождь льёт как из ведра и долго, то считай, что три—пять пайса[1] мне перепадёт.

Но, увы, дождик бывает не каждый день...

А если теперь вы спросите, чего я не люблю, то перечислять придётся слишком долго... Мне можно рассказывать и дальше? Вы ещё не устали? В первый раз встречаю такого терпеливого сахиба. Рам-рам![2]

Очень уж любят взрослые командовать нами, маленькими: «Это нельзя! Так не веди себя! То не делай!» Придумали для нас тысячу разных правил, запретов всяких. Если бы не эти самые запреты, я уже давно подружился бы со всеми мальчишками нашего двора. В какие бы тогда удивительные игры мы играли и уходили бы далеко-далеко! Даже доплыли бы до шхуны, которая лежит опрокинутой в море, или до острова с пещерой, внутри которой есть каменный Будда. А одному страшновато.

Эх вы, взрослые, знали бы, как хорошо дружить...

Мы во-о-н в том доме живём. Шестиэтажном... Ну конечно, не весь дом наш. У нас с отцом только маленькая комнатка в подвале. Над нами живёт Хиромо́н-бабу. У него есть дочка Ла́чхи. Ещё выше — квартира лавочника парса[3], его сына зовут Авра́пгом. Там раньше жил один мусульманин Шопсло́м, он почему-то уехал в Пакистан. А ещё выше живёт сикх[4]

---

[1] Пайса́ — мелкая монета.

[2] Знак удивления, восклицания.

[3] Па́рсы — последователи парсизма, религии древних народов Средней Азии, Закавказья и Персии.

[4] Си́кхи — члены религиозной общины в Индии.

из Пенджаба, и у него есть сын Моха́н. На са-а-мом же верху, во-о-н, где на крыше цветник, — там поселился сахиб Мак-Си́тли. Имени его сына никто не знает. Мы зовём его «Маленький мистер». У него даже ботинки пахнут духами...

Э, постойте-ка, расскажу лучше всё по порядку: сначала про одного, потом про другого.

Начнём с Пунти. Вон он сидит на солнце, весь чёрный, словно кусок угля, вывалившегося из корзины. Это его шалаш под деревом. Хоть он и не живёт в большом доме, всё равно Пунти считается мальчиком с нашего двора. Пунти всегда один. Мать его работает в городской прачечной, что под большим мостом. Отец паланкинщик. Вы не знаете, что такое паланкинщик? Видели на холме храм священных обезьян? До него триста ступеней. Так вот, некоторые сахибы-путешественники ленятся пешком подыматься на холм и садятся в паланкин, который несут два носильщика. Паланкин сделан из досок. У него четыре ручки, и он очень похож на гроб. Отец Пунти с самого детства таскает эти самые паланкины и уже давно заработал себе горб. Он из самой низшей касты. Ему поэтому не дают никакой другой работы. Нельзя, говорят. С Пунти никто не играет. Нам, брахманам, нельзя здороваться с такими, как Пунти, за руку, нельзя даже заговаривать с ними. Посуду, до которой дотронутся они, мы разбиваем. Если нечаянно заденем их подолом, то три дня ничего не едим, очищаемся молитвами.

Честно говоря, мне очень жаль этого Пунти. Он младше меня, такой, знаете, безобидный и всегда молчаливый. Из-за того, что он из низшей касты, ему нельзя пить воду из общего колодца. Запрещено. Ведро, говорят, испоганит. Поэтому, когда Пунти

очень хочется пить, он берёт свою глиняную чашку и становится около колодца. Стоит с утра до вечера. Если какой-нибудь жалостливый брахман нальёт ему немножечко из кувшина, то бедняжка радуется своему счастью. А то ведь можно простоять так два-три дня без всякой пользы.

Однажды его маму ужалил скорпион. Сунув за пазуху свою больную руку, она всю ночь лежала, скорчившись на циновке, около шалаша и стонала. Рано утром я увидел Пунти около колодца. Он протягивал глиняную чашку всем, кто приходил за водой, но на его мольбу не обращали внимания. Солнце припекало. Пунти облизывал свои иссохшие губы и пристально смотрел на людей.

Не вытерпел я. Подбежал к колодцу, набрал ведро воды и вместе с Пунти принёс его в шалаш. Очень тронуло меня горе мальчика. Я даже не заметил, как похлопал его по плечу. И вдруг, представьте, откуда-то налетел запыхавшийся отец и схватил меня за уши.

— Испоганил ты себя, щенок! Знаешь ли, кто мы такие? Брахманы мы, брахманы!

В тот день отец меня розгами так...

Ну, что поделаешь, ведь не один мой отец — все взрослые такие: у них всегда готовы для нас строгие правила.

Хоть Пунти и хороший мальчик, а нельзя мне с ним дружить. Невозможно, понимаете! Он из низшей касты. А я же брахман...

Из брахманов в нашем дворе живёт только девочка Лачхи, дочь Хиромона-бабу. Я уже говорил про неё.

Мне пришло в голову, что с ней-то можно дружить. Однажды, увидев её, я, по обычаю, сложил ла-

дони и поздоровался. Мы разговорились. Я узнал, что и ей хочется побывать у опрокинутой в море шхуны, посмотреть пещеру каменного Будды.

На второй день Лачхи показала мне все свои украшения. Такие я видел только в окнах магазинов. Папа Лачхи богатый па́ндит[1]. Он астролог. Вы не знаете, что такое астролог? О-о! Он гадает по звёздам. У него есть книга одна. Он каждый день читает её, разговаривает с богиней счастья Лакшми. И как посмотрит на звёзды — тут же сразу и скажет, будет вам счастье или не будет, повезёт или не повезёт! Все люди ходят к Хиромону узнавать своё счастье.

Мы с Лачхи успели сдружиться и уже собирались совершить путешествие к острову с пещерой, когда неожиданно мечта наша разрушилась.

Однажды я ждал Лачхи во дворе — мы договорились пойти вместе в Висячий сад. Стою и вдруг слышу, кто-то бранится. Посмотрел наверх — брань неслась из окошка Лачхи. Это ругался Хиромон-бабу.

— Нищий, родившийся под тенью проклятой звезды, не ровня тебе!

— Ведь он тоже брахман?..

— Да, брахман, но подверженный гневу небес. Он растёт на улице, в грязи, в пыли. Если ещё хоть раз увижу тебя с ним, срежу твои косы, так и знай!

Всё! И тут мне не повезло. Снова я остался один.

Теперь вся надежда была на Авранга. Он, скажу вам, хороший мальчик и красивый такой. Отец его

[1] Пандит — учёный-богослов, привилегированное лицо у брахманов.

лавочник. Они тоже не из низшей касты. Ничто, казалось, не могло помешать мне подружиться с Аврангом.

И мы подружились. На второй день он уже рассказывал обо всём, что происходило в их доме. Ночью у них, оказывается, умер дядя, и все их родственники должны пойти к Башне молчания.

— Хочешь, я возьму тебя с собой?

— Хочу.

Все были в трауре, а мы с Аврангом не испыты вали особого огорчения. Мы даже были довольны. Ведь интересно пойти к Башне молчания.

Вместе со всеми мы прошли через Висячий сад и оказались на площадке, окружённой стенами. Посредине стояла высокая башня. Над ней всё время кружили стаи чёрных воронов, большущих, страшных. В одном месте от стены к вершине башни был перекинут узкий длинный деревянный мостик. Тут вдруг кто-то схватил меня за шиворот:

— Ты откуда? Кто привёл тебя сюда?! Да переломится твоя шея!

Это был отец Авранга. Все зашумели, закричали.

— Человек другой веры! Между нами человек другой веры!

Отец и мать Авранга начали причитать, стонать и плакать. Из-за меня, мол, душу покойного не примут в рай. Тут уж от страха затрясся и я. Увидев, какой ужас обуял родственников Авранга, я бросился бежать. Пришёл в себя уже в саду.

Вернувшись домой, я четыре дня пролежал в жару. Видно, от испуга.

О дружбе с Аврангом не могло быть и речи. Я боялся теперь даже случайной встречи с ним. Короче говоря, и тут мне не повезло. Снова надо было искать

товарища. Хорошо, что Шопслом уехал вместе со своим хромым сыном в Пакистан. Всё равно я не мог бы дружить с ним. Он ведь мусульманин.

С Моханом, сыном пенджабского сикха, я и сам не хочу дружить. Во-первых, он старше меня — ему уже шестнадцать исполнилось. Кроме того, он злой и хвастливый, всех, кто родом не из Пенджаба, и за человека не считает. Послушать его, так только одни пенджабские могут быть сильными, смелыми, умными.

Итак, остался только один Маленький мистер, у которого даже ботинки пахнут духами. С ним, наверное, можно дружить. Он всегда подолгу смотрит на меня и всё улыбается.

У Маленького мистера есть белая собачка. Ну, точно комок мягкой ваты. Каждый день он появляется в зелёном дворике вместе с этой собачкой, гуляет на чистом воздухе.

Однажды я лежал на траве. Вижу, идёт карапуз с собачкой. Прежде при появлении Маленького мистера все скрывались в своих комнатах. Сахибы не любят, чтобы мы стояли рядом с ними, они презрительно морщат нос и поспешно берутся за платок. На этот раз я нарушил заведённый порядок — продолжал лежать на траве. Надо же попытаться подружиться с ним.

Я встал с места и поклонился. Маленький мистер кивнул в ответ и с улыбкой уставился на меня. Он смотрел то на свою собачку, то на меня. Видно, сравнивал: его собака белая как хлопок, моё же тело совсем коричневое. Он всё таращил глаза, а собачка тоненько и пронзительно лаяла. Маленький мистер дал ей кусочек сахара, погладил, но собака всё не унималась.

Тут вдруг появилась мать карапуза. Она подбежала, взяла собачку на руки и поцеловала в морду.

— Что ты здесь делаешь? — обратилась она ко мне.

— Так... гуляю, — ответил я, испугавшись её взгляда.

— Другого места не нашёл?

Она так злобно смотрела на меня, что я повернулся и пошёл прочь.

— Мама, а ноги у него какие чёрные... — прозвучали вслед мне слова.

Это говорил Маленький мистер. Его мать обидела меня, прогнала, и это не произвело на него никакого впечатления. Его, видите ли, интересовали мои ноги! Ну, подумайте сами, мог ли я дружить с таким глупым мальчишкой. Да и если бы даже этот карапуз был умным, его мать всё равно ни за что не позволила бы ему дружить со мной.

Вот так и получается. Детей в нашем дворе много, но ни с одним из них нельзя подружиться.

Удивляюсь я взрослым... Зачем они придумали тысячу разных правил и запретов?

«Гаврош»

Завести знакомство с юным парижанином — дело нелёгкое.

По дороге в Париж я решил написать что-нибудь о маленьких гражданах французской столицы. Но, ступив на её мостовые, понял, какую сложную задачу я перед собой поставил. Мы остановились в гостинице, в центре города, а здесь как раз реже всего



можно встретить малыша. Поэтому я чрезвычайно обрадовался неожиданной встрече с Эмилем.

Как это произошло?

В гостинице, где мы жили, был длинный и узкий коридор. К тому же около каждой двери, как правило, стояли одна или две пары ботинок... Они путались под ногами, мешали ходить.

Мы заметили, что коридорный мальчик Эмиль по утрам посматривает на нас как-то сердито и даже отворачивается. Это показалось нам странным.

Скоро мы узнали причину его недовольства: почти все обитатели гостиницы выставляли свои ботин-

ки в коридор. За ночь мальчик успевал их начистить до блеска, за что владельцы обуви давали ему на чай.

Мы не знали о заведённом тут порядке да и вообще привыкли чистить свою обувь сами. Эмиль же, не находя около наших дверей обуви, сделал для себя другой вывод: решил, видно, что мы из жадности не делаем этого.

Как-то я подозвал Эмиля и заговорил с ним:

— Ты напрасно сердишься, мы просто не привыкли заставлять других чистить наши ботинки.

— Почему?

Я чувствовал, что мальчуган ничего не поймёт. Нам оставалось только одно: тоже выставлять свою обувь. В конце концов, для него это источник заработка.

С тех пор мы даже подружились с Эмилем. Возвращаясь домой, часто заставали его у наших дверей.

— А я думал, что вы бедные, что вам и за чистку ботинок нечем заплатить, — смеялся Эмиль, стирая пыль со стола.

Он всегда был чем-нибудь занят.

— Ты хороший мальчик, ты любишь трудиться! — сказал я.

Он задумался.

— Нет, тот, кто трудится, не бывает хорошим, он всегда бедный... Хороший, счастливый человек красиво одевается и ездит в машинах, — сказал Эмиль.

Меня, признаться, удивило такое объяснение. Я попытался растолковать ему разницу между понятиями «хороший человек» и «богатый человек». Но, как и в первый раз, ничего не добился. Потом, когда

мы сошлись ближе, я ещё раз попытался подействовать, вразумить его.

— Эмиль, а ведь ты неправ! Вот, к примеру, мой сын...

— У вас есть сын?

— Да... Он всегда занят каким-нибудь делом, помогает родителям. Осенью выезжает на сбор хлопка. Ну, словом, мой сын очень много трудится. И потому я считаю его хорошим мальчиком.

— Он не учится?

— Учится в школе. И ещё занимается музыкой.

— Вы, значит, богатый...

— Эмиль, в нашей стране все дети учатся бесплатно.

Мальчик явно не верил мне. Он даже рассмеялся. А потом начал рассказывать про своего деда, который был мастер выдумывать сказки. Эмиль всегда с удовольствием слушал их, но ни единому слову не верил.

— Но то, что говорю тебе я, не сказка.

— А если всё даром, так зачем же вашему сыну работать?

— Он работает не ради денег, — ответил я. — Он помогает колхозу.

— А что такое «колхоз»?

— Колхоз? Колхоз... Ну, вот, скажем...

Нет, я не мог в нескольких словах объяснить ему то большое, чем живёт наша страна.

— У тебя есть папа? — спросил я.

— Есть... Он меня не любит.

— Почему же?

— Моё рождение дорого обошлось ему. Мама два раза лежала в больнице, и папа израсходовал на это все свои сбережения. Поэтому он с самого дня рож-

дения невзлюбил меня. Но я не пропаду. В гостиницу приезжает много богатых господ, я чищу им ботинки. Когда накоплю много денег, отдам их папе.

На другой день после этого разговора мы пошли на могилу коммунаров. Вход на кладбище платный, и потому я очень удивился, увидев там Эмиля.

— Ты перелез через забор?

— Нет, по стенам Пер-Лашеза лазать нельзя — на них кровь коммунаров, — с серьёзным видом ответил Эмиль. — Я купил билет.

Вместе с нами Эмиль возложил венок на могилу коммунаров.

Потом мы были в Пантеоне, и рядом опять оказался Эмиль. Это нас уж не удивило. Но, когда мальчик появился в Лувре, где входные билеты чрезвычайно дороги, мы просто поразились.

— Я купил билет, — сообщил он, не ожидая вопроса, — взял из денег, собранных для отца... Ничего, успею ещё заработать.

И так было всюду. Куда бы мы ни ходили, везде рядом оказывался Эмиль.

— Гаврош, ну точно Гаврош! — говорили мои друзья.

С тех пор мы так и звали его. А «Гаврош» наш, оказывается, и не читал о Гавроше. В день отъезда в бесчисленных книжных лавках на берегу Сены я попытался разыскать для Эмиля «Отверженных», но не нашёл. А жаль — я ведь пообещал подарить ему эту книгу.

Но я уверен: Эмиль обязательно разыщет её и прочтёт.

Чудовище

Вот и Африка — рвущий цепи чёрный великан.

Пароход бросил якорь в порту.

Нас встретил знойный берег Французского Сомали. Он производил бесконечно унылое впечатление. Горячий ветер далёкой Сахары обжигал лицо, при каждом вдохе казалось, что глотаешь огонь. Вихрь поднимал и мчал по серым просторам пустыни огромные столбы пыли.

По привычке я взялся за фотоаппарат, намереваясь сделать несколько снимков в память о стране, на землю которой я ступил впервые. Но вокруг ничего не было видно. Вдали едва различалась черта горизонта.

В порту только огромные цистерны, на которых намалёваны крылатые кони с огненными гривами. Цистерны заметны ещё с моря. Они принадлежат нефтяным концернам Рокфеллера. Этими крылатыми конями мы уже успели до тошноты налюбоваться во многих странах Азии и Африки.

Правда, по восточной легенде, кони летают на крыльях добра, но рокфеллеры, прикрываясь прекрасной легендой, бессовестно грабят народы Азии и Африки. И не только рокфеллеры. Есть пауки поменьше, хотя жадность их также велика. Об одном из таких я и хочу вам рассказать.

Юноша, который должен был показать нам Джибути, принадлежал к племени данакиль, но родным языком для него был арабский и имя у него арабское — Абу-Диб.

Простой и искренний, несколько застенчивый, он очень располагал к себе. Мы называли его коротко: Диб.

В глубине его невыразимо грустных глаз словно пряталась какая-то затаённая боль.

Диබу едва исполнилось двадцать. Он хромал и ходил с палкой.

— Странно... — сказал юноша, узнав, что нас интересует жизнь детей. — Другие туристы только и твердят: «Покажи нам искателей жемчуга».

В городе школ было очень мало. Существовали они в основном на пожертвования богатых благотворителей. Диб вызвался показать нам одну из таких школ.

Пройдя через богатые кварталы, утопающие в тени цветущих акаций, мы попали в «туземную» часть города. Жара здесь нестерпимая. Нет и пятачка тени. Тут и дождь, и вода в кранах всегда горячие.

И ещё здесь очень много детей. В роскошных европейских кварталах, на тенистых бульварах мы не видели ни одного ребёнка, а здесь... сотни, тысячи ребят! И до чего шумно! От крика и визга звенел воздух. Дети бегали почти голыми.

В школе, куда мы пришли, было всего три комнаты и коридор. Одинаково и опрятно одетые дети совсем не походили на тех, которых мы только что видели на улицах.

Ребята были не по-детски степенны, медлительны и безмолвны. В глазах у них ни тени детского лукавства. Трудно было предположить, что они могут играть и смеяться: на нас глядели маленькие старички с уже сморщенными лобиками и тусклыми глазами.

Сегодня в школе ждали господина Даладье. Того самого, на чьи пожертвования учились, одевались и кормились двадцать шесть сирот и детей обнищавших родителей. Как выяснилось потом, это и было

причиной столь напряжённой тишины и тревожной озабоченности учеников.

По совпадению и нам предстояло увидеть господина Даладье — этого, как мы полагали, добросердечного человека.

Воспитатели, готовясь к встрече столь важной персоны, в замешательстве сновали по коридору. Старая смуглая женщина говорила с восторгом и умилением:

— Мсьё Даладье! О-о!.. Это воплощённое благородство, сама щедрость...

По её словам выходило, что господин Даладье прибыл в эту страну в качестве миссионера очень давно, открыл здесь школу и выписал из Парижа учебники, изданные специально для миссионерских целей.

— Мсьё Даладье посвятил всю свою жизнь детям! Только в год, когда голод косил людей, он оставил школу и занялся какими-то другими делами. Богатый и щедрый человек...

Господин Даладье приехал в фаэтоне. Он был очень стар и сед, с головы до ног во всём чёрном, белел лишь накрахмаленный воротничок. На голове его — цилиндр, в руках — посох.

Воспитатели очень учтиво, очень низко поклонились ему, затем, поддерживая с обеих сторон, помогли слезть с фаэтона. Старик приложил свои синие жилистые руки к груди и возвёл очи к небу. Это он, по христианскому обычаю, благодарил «всевышнего» за благополучное своё прибытие.

Когда он вошёл в школу, выстроившиеся в ряд дети, как по команде, упали на колени и коснулись лбами земли. Любвеобильный покровитель поднял их, каждого поцеловал в лоб и раздал им бана-

ны, привезённые с собой в корзине. Затем господин осмотрел комнаты, задал несколько вопросов и, повидимому, остался всем доволен.

Я наблюдал за ним. Он, как казалось мне, был не так уж стар и слаб и только старался казаться дряхлым старичком.

Сняв цилиндр, он пригладил ладонями обеих рук свои редкие волосы. Затем уселся в кресло, предназначенное, очевидно, специально для него. Одного из ребят, из тех, кто осмелился подойти к нему, он посадил к себе на колени, а другого одарил конфетой.

Узнав, что мы пришли посмотреть его школу, господин выразил нам свою признательность. Невозможно было допустить, чтобы этот человек мог кому-нибудь не понравиться. Судя по выражению его лица, он был неподдельно рад этой встрече с детьми.

И вдруг господин увидел нашего Диба! Лицо его мгновенно помрачнело, он весь ссутулился, низко опустил голову, потом медленно встал с места и попросил свой посох. Старик явно дрожал.

Воспитатели замерли в испуге: что не понравилось господину? Уж не допустили ли они какой-нибудь оплошности?

Диб почему-то тоже заторопил нас и сам первым выскочил за порог. Мы молча, кивком головы, простились с бледным как смерть господином и поспешили на улицу.

Что случилось? Я ждал объяснений от Диба, но юноша внезапно сделался молчаливым и на все вопросы отвечал уклончиво:

— Не знаю... Я не знаю.

Но потом вдруг сказал:

— Есть у меня догадка, предположение одно: вдруг мсьё не тот человек, за которого я его принимаю, а я расскажу вам? Не будет ли это клеветой на хорошего человека?

— Диб, ведь всё останется между нами,—настаивал я.

Но, как видите, читатель, я не сдержал своего слова. Не мог! Тому причиной — гнев мой! Гнев!

— Едва ли старик узнал меня, он просто испугался моей хромоты, — начал свой рассказ Абу-Диб. — Я метис. Это у кого мать чернокожая, а отец белый. Нас здесь одинаково презирают и чёрные и белые. Нет слова более оскорбительного, чем «метис».

Грязная колыбель в жалкой лачуге страшной старухи — вот моё воспоминание о детстве. Вы можете подумать, неужели человек так долго остаётся в колыбели, что все его представления о детстве с этим только и связаны. Да, я был до того хил и слаб, что старуха держала меня в колыбели до пяти-шести лет. Нас было четверо или пятеро у неё. Над колыбелью постоянно раздавалась её брань:

— И ведь не подохнут! Не подохнут, проклятые! Живучи, метисы проклятые!

Мы не переставали плакать ни днём ни ночью. А она, призывая смерть на наши головы, всё-таки совала нам в рот кусок мокрого хлеба. Я уже после уразумел: хотя старуха проклинала нас, её существование зависело от денег, которые кто-то неведомый платил за наше содержание. До поры до времени нам положено было жить!

Так я рос до шести-семи лет. И вдруг судьба сжалилась надо мной.

Однажды в лачугу вошёл господин, одетый во всё

белое. Был он средних лет, бодрый, весёлый. Таким он мне показался.

Я боюсь утверждать, но мне кажется, что мсьё Даладье и есть тот самый господин...

Абу-Диб, разрисовывая посохом песок, задумался. Мы сидели на коралловом выступе у берега Красного моря. Поодаль тощие люди в одних набедренных повязках выбрасывали лопатами соль со дна отмели на берег. На фоне белых солевых гор под лучами африканского солнца их тонкие чёрные ноги вырисовывались особенно чётко.

Диб продолжал:

— Мсьё, оказывается, нужен был ребёнок. Старуха принялась расхваливать нас, как самая завзятая торговка. Но мсьё обратил внимание только на меня. Странно, зачем я понадобился мсьё? Ведь из всех детей я был самый хилый. К тому же хромой от рождения...

И всё-таки мсьё взял меня. Дом мсьё тоже находился в одном из окраинных кварталов и тоже был тёмный, сырой, но просторный, как казарма. Нас тут было много, более двадцати ребят! Мсьё не плохо кормил, я набрался сил и быстро вытянулся. Из благодарности я готов был исполнять всё, что приказывал мне мсьё. А он давал удивительно лёгкие поручения. Обычно посылал в какой-нибудь квартал, где, опершись о свой костыль, я должен был стоять у входа в отель. При этом опрокинутая феска непременно лежала у моих ног. Такое поручение казалось мне пустяковым. Я отлично справлялся с ним. Каждый вечер приносил денег для мсьё, а выспавшись на камышовой циновке, поутру снова отправлялся «на работу».

Вначале я не знал, чем занимались другие дети.

Потом догадался, что и они попрошайничают, как и я, только в других кварталах. Все мои товарищи тоже были калеками. Кто хромой, кто безрукий, кто горбатый. Я постепенно стал задумываться, почему они все... такие? И откуда он их собрал? Были среди нас уроды, были слепые, припадочные.

Мне стали сниться страшные сны. Однажды ночью я проснулся от собственного крика. Вижу: все повскакали со своих мест, окружили меня и смотрят. И это было страшнее всякого сна...

— Откуда... вы такие? Откуда вы тут? — произнёс я, охваченный страхом.

Никто мне не ответил. Должно быть, убедившись, что я не сошёл с ума, все молча разошлись по своим местам.

Ночи стали для меня мучением, я плохо спал, бредил. Зато днём нередко забывался, дремал. Поэтому в иные дни феска моя оказывалась совсем пустой. Вот тут-то я и узнал, какое чудовище приютило нас.

— Где остальные деньги?—спросил меня однажды мсьё.

Он принимал деньги в своей комнате и всегда пересчитывал их. Комната была довольно маленькая и тоже тёмная и сырая. Жил в ней мсьё или не жил — мы не знали, но деньги от нас он всегда принимал только там.

— Где остальные, щенок? — повторил мсьё с налитыми кровью глазами.

Нагнувшись, он что-то выхватил из-под кресла и мгновенно сжал мою ногу в тисках. Он сделал это так быстро и ловко, что я даже не успел опомниться.

— Говори! — произнёс он сквозь зубы.

Боль пронзила меня до самого сердца. Такая



...Я должен был стоять у входа в отель.

адская боль, что я облился холодным потом! Внезапно боль утихла. Это была пытка. Второй раз такого не выдержишь.

— Я больше не буду дремать на углу! — выкрикнул я.

По глазам мсьё я понял: если когда вздремну — убьёт.

Так проходили дни и ночи. К нам присоединяли всё новых калек. Улицы, площади и кварталы города были строго поделены между нами. Мсьё, оказывается, имел такую силу и власть, что прибрал к рукам весь город, так сказать, монополизировал его, изгнал всех других нищих. Некоторые наши калеки даже гордились такой властью хозяина. Разные ведь были люди, иные даже наушничали мсьё, шпионили. Поэтому мы чаще молчали. Говорить с кем-нибудь вслух было опасно.

Однажды ночью я услышал глухой жалобный стон. Он доносился откуда-то из-за двери. Я не выдержал, поднялся. Тут чья-то липкая рука придавила моё плечо. Это был припадочный один. Я лёг.

— Что там? — спросил я и кивнул на дверь.

— Мсьё делает калек... — ответил он шёпотом и тут же закрыл своей ладонью мой рот. Он, наверное, думал, что я вскрикну.

После долгого молчания он сказал:

— Отсюда теперь не выберешься. Куда бы ни скрылся, всё равно отыщут, убьют. Он уж позаботится.

Но я не боялся смерти. Я боялся ещё раз услышать стоны за дверью. Мсьё приводит всё новых детей, калечит их, ломает им руки или ноги, а ты должен видеть это и молчать. Может ли живой человек стерпеть такое, скажите мне?

Абу-Диб вздрогнул и умолк. Бамбуковый посох в его руках с треском разломился надвое. Я молчал. Мне очень хотелось узнать, как он избавился от этого ада, но я не решился больше спрашивать. В глазах его было столько боли, мольбы...

И на другой день наш Диб выглядел печальным. Похоже, что он не спал ночь.

Я чувствовал себя виноватым. Из-за меня Диб столкнулся с мсьё Даладье, и ужасы детства снова всплыли в его памяти. Мне даже казалось, что он теперь не сможет их забыть, страшные воспоминания будут мучить его всю жизнь.

— Это он, — уверенно произнёс Диб, — точно он! В этом мире он пожил в своё удовольствие за счёт мучений детей, а теперь хочет очиститься их же молитвами...

Я вспомнил седого человека в чёрном сюртуке с ослепительно белым воротником, с возведёнными к небу очами.

Чудовище!..

Рог элефант

На этом маленьком солнечном острове самые красивые зрелища устраиваются в праздники Будды. Одно из них, древнейший обряд, — шествие слонов. Длится оно шесть ночей.

Наше пребывание на острове совпало с последней, самой торжественной ночью праздника: в этот день главный слон должен был вынести из храма зуб Будды — священный предмет в золотом ларце.

В шествии участвовали слоны всех пяти храмов, в том числе и слоны храма Питтини, считавшегося покровителем детей.

Шествие началось. На хоботе первого слона восседал, словно в кресле, темнокожий юноша лет двадцати, сухощавый, стройный, с гордой осанкой.

— Элефант Ража, махаут Жайя! — громко объявил глашатай.

«Элефант» — значит «слон», Ража — его прозвище. Махаутом называют человека, владеющего искусством управления слонами, Жайя — имя юноши.

В мягких вечерних сумерках белым светом загорелись фонари, заблестели длинные сочные листья бананов. Воздух напоён ароматом тропических цветов. Весь народ собрался на центральной площади города. Пришли сюда даже жители далёких деревень. По левую сторону от нас сидят сингалезцы. «Сингал» — значит «льву подобный». И на самом деле сингалезцы сильные, высокие. Их длинные блестящие чёрные волосы и бороды красиво расчёсаны, в зубах у каждого — длинная сигара. «Судя по одежде, Жайя,



вероятно, тоже из льву подобных», — подумал я. Впереди нас — остриженные наголо буддийские монахи в жёлтом одеянии.

Тихо. Слышно, как неподалёку шумит океан.

Внезапно раздался оглушительный грохот, словно гром загремел. Это сотни барабанов возвестили о начале шествия.

По обе стороны дороги плотной стеной стояли десятки тысяч людей. Под их восторженные крики слоны, украшенные сверкающими позументами и разноцветными кисточками, выступали грузно и величественно, и нам казалось, что земля под нами начинает медленно раскачиваться.



Для цейлонцев слон — священное животное. Каждого слона они почтительно называют «оли», что значит «величавый».

Цейлонские слоны достигают трёх метров в высоту, а весят, по меньшей мере, три тонны. Происходят они от индийских пород.

Сейчас внимание всех было приковано к Раже. Слон выделывал такие номера, что толпа замирала от восторга. Вот он ставит свой хобот вертикально, столбом, а Жайя на самом кончике делает стойку на голове. Затем половина туловища юноши исчезает в тёмной пасти животного. Громкими криками, сотрясающими, кажется, само небо, собравшиеся выражают своё одобрение.

После шествия, уже на рассвете, в парке Коломбо показывали танец слонов. Я неотрывно смотрел на Ражу. Казалось, слон не только понимал каждый взгляд своего хозяина, но даже читал его мысли. Движения человека и слона были так слаженны, гармоничны, что создавали впечатление настоящего танца.

До чего умное, спокойное и послушное животное! Раньше я, признаться, не очень представлял себе, до какой высокой степени можно довести искусство дрессировки.

Когда Ража и Жайя отдыхали, я не обращал внимания на танцы других слонов. Для меня существовала только эта удивительная пара.

Во время последнего перерыва к Жайе подошёл высокий, одетый в светлый костюм человек в шлеме. Похож он был на англичанина. За плечом у него висело короткоствольное ружьё. Он что-то серьёзно втолковывал Жайе. Я различал только слова: «Махаут! Махаут!» Жайя, должно быть не соглашаясь с

ним, отрицательно качал головой. Человек в шлеме протянул руку. В это время...

Всё произошло мгновенно. Я даже сразу ничего не понял. Ража вдруг обвил своим хоботом человека в шлеме, оторвал его от земли и, широко размахнувшись, швырнул вверх с такой силой, что тот, перевернувшись в воздухе, шлёпнулся на землю. Разбился он или, по счастливой случайности, уцелел — не знаю. Охваченные паникой, люди бросились врассыпную, налетая друг на друга, спотыкаясь, падая.

— Амок! Амок! — кричали люди.

Я знал это слово: оно означало «бешеный». Меня тоже охватил ужас. Известно, если взбесится слон — добра не жди.

В руках у махаутов появились андусы — железные вилы. Они стали на своих слонах окружать Ражу со всех сторон.

Слон, покушающийся на человека, обычно приговаривается к смерти. Для этого его окружают, опутывают железными цепями, затем заковывают и валят.

Опомнившийся Жайя только теперь понял намерение людей. Он подбежал к Раже и обнял его за хобот. Хобот взлетел вверх, и Жайя снова начал представление. На этот раз Ража превзошёл себя, а глаза его казались мне ещё более умными и проницательными.

Но зрители уже не возвращались — они боялись. Вскоре пронесли на носилках англичанина. Его провожали тревожными взглядами. Почему Ража так поступил и что сделал тот человек, о чём он говорил?

На другой день я разыскал Жайю. Он был рас-

строен и потому не особенно охотно вступил в беседу. Оказалось, что на него уже подали в суд.

— Кто этот в шлеме, что он хотел от вас? — спросил я.

— Он мудада́л — палач слонов, — пояснил мне Жайя. — За каждые пол-аршина туловища слона он, видите ли, готов дать по пятьдесят рупий. А потом, разумеется, будет перепродавать слона втридорога. Ему нужен также искусный махаут.

— Неужто Ража понимал ваш разговор?

— Нет, конечно, — произнёс Жайя, печально улыбнувшись. — Этого человека погубило ружьё. И кто это на празднество приходит с ружьём!

— Ружьё погубило?

— Да. Слоны очень злопамятны. Ража мстит человеку с ружьём...

* * *

Жайя вырос в долине Гал-оя. Деревня, в которой он жил, со всех сторон была окружена непроходимыми джунглями и водопадами, низвергавшимися с величественных высот. Природа этих мест привлекала многих путешественников. Большинство из них искали слоновую кость.

Охотники на слонов часто причиняли много бед коренному населению.

Люди пытались уберечь джунгли от пожаров, а редких животных, особенно слонов, от варварского уничтожения. Но охотниками владела такая страсть к наживе, что за десять лет было истреблено несколько тысяч слонов. Об этом часто и с гневом говорил отец Жайи.

Близ деревни был гигантский водопад. В заводь, образовавшуюся неподалёку от водопада, туристы

кидают монеты, а мальчишки ныряют со скалы и ищут их. Жайя, худощавый и ловкий, был среди них самый смелый. Богатые и праздные туристы искали всё новых и новых удовольствий. Нередко какой-нибудь господин вынимал из кармана полдоллара и кивком головы указывал мальчикам на самую высокую вершину скалы. Смельчаки находились не часто.

Однажды к англичанину, дразнившему ребят монетой, подошёл Жайя. Пари состоялось. Жайя залез на вершину скалы. Он и так был маленький, а теперь снизу его чёрное тельце казалось величиной с горошину. Дети, увидев Жайю на скале, пришли в ужас. Они замахали руками, закричали:

— Слезай! Разобьёшься!

Некоторые умоляли господина отказаться от опасной затеи. Но англичанин не обращал на них внимания.

Внезапно раздался гневный окрик:

— Жайя! Слезай!

Это был отец Жайи. Он одним ударом свалил англичанина, и тот лежал теперь в пыли вместе с поблёскивающей на солнце монетой.

Жайя послушался, слез. Отец взял его за уши и повёл домой.

«Чёрный» человек поднял руку на «белого» господина. В те годы за такой поступок расплачивались страшно. Отец Жайи уже на другой день был посажен в тюрьму. Прошёл год, два — он не возвращался.

Мальчик стал сиротой. Взрослые боялись проявить к нему сочувствие, и детям не разрешали играть с ним. Да и сам Жайя ни к кому уже не тянулся. Раз нет отца, кто может утешить его. Но в глуби-

не души мальчик очень тосковал и страдал от одиночества. Он бродил грустный, безутешный. Часто уходил к далёким водопадам, углублялся по тропинкам в джунгли.

По этим тропинкам ходили также охотники на слонов. Эти жадные и жестокие люди ловили слонят самым варварским способом: рыли ямы, куда проваливались животные, поджигали лес, чтобы загнать слонов в ловушку. Затем они добивали их и выгодно сбывали бивни, кости, шерсть или, приручив и вырастив, продавали мудадалам.

Однажды у берега маленького озера, куда приходили на водопой слоны, Жайя заметил группу охотников, вооружённых арканами, цепями, ружьями и факелами... Они осторожно приближались к стаду.

Один из охотников подкрался к слонёнку и, опутав его ноги цепью, защёлкнул замок. Конец цепи был привязан к большому дереву. Охотники принялись палить из ружей, закричали, заулюлюкали. Напуганное стадо обратилось в бегство. Слонёнок, очутившийся в железных оковах, бил ногами о землю, ревел, брызгал пеной, но не мог сдвинуться с места. Мать его, слыша плач детёныша, не выдержала и повернула назад. Пренебрегая опасностью, она подошла к слонёнку и стала рядом. Охотники стреляли в неё. После каждого выстрела она судорожно вздрагивала, но не покидала своего детёныша. Наконец, огромное животное пошатнулось и рухнуло на землю. Кокосовая пальма, к которой был привязан конец цепи, под тяжестью её тела затрещала и повалилась наземь.

В тот же момент Жайя, притаившийся в зарослях, увидел, как слонёнок, мягко шлёпая ногами,

пробежал мимо него. Сердце мальчика радостно забилось: «Избавился!» Ему представилось, как охотники прибегут сюда, запыхавшиеся, жадные, с налитыми кровью глазами, а добычи нет! «Так им и надо!» — подумал не без злорадства Жайя.

Мальчик пошёл следом за беглецом и вскоре нашёл его в густых зарослях. Малыш всё ещё вздрагивал от страха. Однако Жайю подпустил к себе и даже разрешил погладить по спине и потрогать хобот. Должно быть, понял, что Жайя тоже маленький и бояться его не следует.

«И что теперь делать?» — подумал Жайя.

Слонёнок не уходил, и Жайе тоже не хотелось уходить. Ведь если он сейчас покинет малыша, то охотники, конечно, разыщут его.

Близилась ночь, когда Жайя привёл своего нового друга в деревню. Сцепив хобот с передней ногой, он за заднюю ногу привязал слонёнка к финиковой пальме. Скорлупой кокосового ореха почесал ему шею, накормил плодами дикой яблони, напоил прозрачной водой, затем выкупал.

Известно, что слон очень быстро привыкает к человеку, который ухаживает за ним.

Жайя дал своему слонёнку кличку «Ража». Окликнуть животное — значит дать первый приказ. «Разговорник» махаутов насчитывает сотню слов, каждое из которых означает какой-нибудь приказ. Жайя начал со слов «кида-дамэ», что значило «подними ногу». Потом слон научился понимать слова «уду-дэри» — «подними хобот». Через две недели Жайя уже мог сидеть верхом на спине Ражи. Ража сам подсаживал мальчика хоботом.

Жайя и Ража стали закадычными друзьями.

Ража вырос, Жайя сделался настоящим махау-

том. Ража оказался на редкость понятливым существом. Стоило сказать «пуру», и он своим лбом валил стену или дерево, а при слове «дэри» поднимал груз. Жайя и Ража могли бы теперь выполнять многие виды работ и зарабатывать деньги. Но Жайя не хотел изнурять слона тяжёлым трудом. Он учил Ражу искусству танца. И вот теперь, в праздники Будды, он даёт представления.

Ража был очень послушным, но исполнял он только приказы Жайи.

Слон хорошо помнит добро. Но он также никогда не забывает зла.

Жайя уже давно заметил: стоило Раже увидеть ружьё, как он начинал проявлять беспокойство, злился, отказывался выполнять приказы. Для проверки юноша как-то повесил за своё плечо ружьё — и предположение подтвердилось.

Это обстоятельство всегда тревожило махаута.

И вот через много лет случилась беда...

Англичанин в больнице. Жайю должны судить. А Ражу, посчитав за амока, присудят к смерти.

Я посоветовал Жайе обо всём рассказать на суде.

— Поможет ли?..

— Думаю, поможет. Несколько лет назад, возможно, не помогло бы, а теперь поможет, — ответил я.

В день отъезда я зашёл к Жайе проститься. И тут узнал, что совет мой действительно помог не только Жайе, но и Раже.

Ража не амок, признал суд. Ража — рог элефант, слон-мститель.

Сломанные крылья надежды

Четыре мотора в три тысячи лошадиных сил взревели один за другим. Лёгкий толчок—и самолёт, подрагивая, тронулся с места. Набирая скорость, он устремился вперёд по взлётной дорожке. Затем машина оторвалась от земли. Мы как-то сразу отделились от горизонта. Он быстро стал уходить от нас. Трактор на территории аэродрома, волочивший за собой заправочные цистерны, уже казался букашкой.

Сайгонский аэропорт постепенно сливался с голубым морем неба. Мы взяли курс на Токио. Самолёт плыл над волнами кудрявых облаков.

Иногда пучина облаков словно разверзалась голубой пастью бездонных колодцев: мы шли над океаном.

Я раздвинул шёлковые занавески овального окошка с пластмассовым, как у очков, ободком и залюбовался переливающимися красками неба. Иногда самолёт как бы внезапно вылетал на поляну, и тогда казалось, что вдали, в огненном кипении солнца, загорался краешек океана. Но стоило солнцу исчезнуть, и спускавшийся откуда-то сверху бесконечный мрак окутывал облака, на сердце становилось как-то жутко.

Я отпрянул от окошка. В салоне было светло, тепло, откуда-то потянуло запахом сирени. Пассажиры непринуждённо беседовали. Мужчины попыхивали сигарами и папиросами. Кто-то весело, по-домашнему, возился с ребёнком.

В кресле, напротив меня, сидела маленькая японка. На вид ей было не более пятнадцати лет. Я залюбовался весёлой, жизнерадостной спутницей. Тем

временем сидевшая рядом со мной её мать, тронув меня за рукав, зашептала:

— Моя Хакка́я красавица! Настоящая красавица! Правда?

Хаккая действительно была красива. Чуть припухлые веки спокойно мигали ниточками чёрных ресниц, такие же чёрные ниточки — тонкие брови — подымались над её весёлыми узкими глазами. Над головой двумя ярусами возвышался жгут густых и чёрных как смоль волос. Девочка, чувствуя внимание окружающих, явно гордилась собой.

— Может Хаккая стать балериной? — снова обратилась ко мне мать девочки. — Она очень способная...

— Возможно, — ответил я.

— Конечно, конечно! — продолжала мать. Глаза ее светились счастливыми искорками. — Хаккая учится танцевать.

Девочка избрала искусство своим жизненным путём, и её мать, простая японская женщина, чувствовала себя счастливой.

Тёплая волна материнской радости коснулась и меня. «Да будет всегда счастливой твоя звезда, девочка!» — подумал я...

Справа от меня сидел какой-то нервный господин. Когда мы говорили о будущем девочки, он резко снял пенсне, поморщил своё желчное лицо и из-под белёсых густых бровей неприязненно посмотрел на нас. Я не сразу определил его национальность.

— Могли бы вы меньше говорить? — сказал он по-английски.

Господину была явно не по душе наша беседа — чужая радость вызывала в нём досаду.

— Слишком рано говорить о будущем этого цып-

лёнка, господа оптимисты,— продолжал он, набрасывая на себя пальто.

— Будущее Хаккаи очень реально... — начал было я, но этот нервозный господин перебил меня.

— Война... Сейчас самая реальная вещь — война, сэр! — И он с головой закутался в пальто.



Мать девочки вздрогнула, лицо её стало темнее тучи. С глубокой тревогой и нежностью она посмотрела на свою дочь. Мне тоже стало как-то не по себе, и я молча поднялся.

Я направился в кабину пилота. Самолёт вёл мой давний друг — француз Жерар. Во время Великой Отечественной войны он служил в эскадрилье «Нормандия — Неман» вместе с моим погибшим братом. Мы встретились с Жераром в Стокгольме. Потом вместе пили кофе в Риме, вместе ночевали в душных общежитиях аэропортов.

И вот сейчас, положив руку на поблёскивающий полумесяц штурвала, он пристально смотрит на бесчисленные зелёные, красные и голубые лампочки, пластмассовые кнопки и циферблаты.

Жерар, занятый делом, по обыкновению, молчит. Несколько грустное выражение лица гармонирует со всем его мужественным обликом. Он, казалось, слился в одно целое с пятидесятитонным гигантом,

который, разрезая облака, летит над океаном на высоте восемь тысяч метров.

— Метеосводка! — произносит он в микрофон и тут же, заметив меня, улыбается, показывая взглядом на круглый, обитый красной кожей стул рядом с собой: садись, мол.

Тьму ночи иногда прорезают молнии, в бездонной пустоте свирепствует ветер, неумолчно, словно единый раскат грома, ревёт мотор.

Внезапно показалась луна. Я взглянул через стекло кабины: крылья сверкали тонкой прозрачной коркой льда. Жерар перевёл управление на автоматическое пилотирование и обернулся ко мне.

— Ныне, брат, люди действуют наперекор географии, — сказал он, переводя стрелки своих часов на полсуток вперёд.

— Как же это?

— Вот ты, чтобы попасть в Японию, полетел сперва не на восток, а на запад — в Швецию, потом на юг. Полуторачасовой путь проделываешь за шесть дней...

Наш разговор был прерван радистом, который, включив приёмочный аппарат, метнулся к пилоту. На нём не было лица. Он смотрел на Жерара обезумевшими глазами. Язык, казалось, не повиновался ему. Наконец, в странной тишине, не нарушаемой никакими позывными, прозвучало одно его слово:

— Радиограмма. — И он снова умолк.

— Говори! — приказал Жерар.

— Радиограмма... Токио передаёт, что в нашем самолёте мина... взорвётся в шесть пятьдесят.

Я взглянул на часы.

На большом чёрном циферблате хронографа в фосфорическом свете, словно живые, дрожали стрел-

ки, показывая десять минут седьмого. «Значит, ещё сорок минут. Сорок минут. Сорок минут...» — подумал я. Ни о чём другом я уже не мог думать.

— Где мы? — спросил я у Жерара.

Он промолчал. На лбу его выступили крупные, как горошины, капли пота. Глаза впились в альтметр. Когда Жерар услышал страшную весть, ни один мускул не дрогнул на его лице. Он даже не шевельнулся.

— Свяжитесь с Окинавой! — крикнул он в микрофон.

Но радист предпринял эту попытку и без приказа. Дрожащими губами он доложил:

— Окинава отвечает: «Пассажирские самолёты не принимаем».

— Ты же японец! — сжимая штурвал, крикнул Жерар.

— Я сказал им, но...

Радист смолк. Руки его бессильно повисли вдоль туловища. Он смотрел перед собой отсутствующим взглядом.

— Люди в самолёте ничего не должны знать, слышишь? — приказал Жерар. Затем он взглянул на меня: — У нас тридцать восемь минут. Ищи мину! Пассажирский салон тебе, брат. Но помни, если пассажиры догадаются, катастрофа неминуема.

«Значит, катастрофы можно избежать», — подумалось мне. Я почему-то надеялся на Жерара. Его твёрдость, решительность передались и мне. Через коридор я прошёл к пассажирам. Больше всего я боялся за своё лицо: наверное, оно, смертельно бледное, искажено страхом!

Я сел на своё место. Затем, как бы нечаянно обронив карандаш, начал шарить под креслами.

Где затаилась наша смерть? Сколько тут людей? И всех нас ожидает в этом чужом небе трагическая смерть! Стрелки отсчитывают последние наши минуты. Я чувствовал дрожь в руках. А желчный господин раздражённо произнёс:

— Сэр, я уступлю вам свой карандаш, только перестаньте возиться. Ведь нервы у людей не железные.

Я снова сел на место. Словно колокольчик звучит смех Хаккаи. Нервный господин что-то говорит, морща своё желчное лицо, но я уже не понимаю смысла его речи. «Неужто совсем не понимаю?» — пугаюсь я. Нет, вот говорит мать Хаккаи. Она обращается ко мне:

— Покойный отец Хаккаи чуть не погубил жизнь своей дочери. Выручил нас друг-итальянец. Уговорил мужа отдать девочку в хореографическое училище — мол, Хаккая может стать знаменитой балериной. О, если бы это могло осуществиться! В Токио есть одна балетная школа, но откуда взять деньги на обучение? Наша маленькая бакалейная лавка едва кормила нас... Мой бедный муж в конце концов продал и лавку — всё соскрёб, лишь бы Хаккая стала балериной. Мы одевались кое-как, жили впроголодь, зато наша дочь училась. Ох как дорого это стоило отцу! Он заболел туберкулёзом и умер. Что я могла поделать? Нам так хотелось счастья дочери. Все говорили: «Она создана для балета. Ей быть знаменитой артисткой!» Вот и вы тоже... Где вы?

Я больше не слышу её, я снова ищу «карандаш», теперь уже под креслами четвёртого ряда.

Мать Хаккаи всё говорит.

Я ищу уже под креслами последнего ряда. Пасса-

жиры сердятся, громко выражают своё недовольство. Я беспокою их из-за пустяка. Они правы...

Пять минут показались мне вечностью. Колени мои подгибаются, голова гудит, с лица льётся пот. Мины нигде нет...

Когда я вернулся в кабину лётчика, первое, что бросилось мне в глаза, были часы. Оставалось двадцать восемь минут.

Что делать?

Жерар кивнул на толстую корку льда на крыльях самолёта. Альтметр показывал восемьсот километров в час. Это очень опасная для самолёта скорость. Корка льда всё утолщается, самолёт тяжелеет, давление на механизмы управления увеличивается. Может статься, что при такой скорости самолёт и без мины рассыплется в воздухе. Жерар, по-видимому, решил остаток пути покрыть вместо часа за двадцать восемь минут. Страх коснулся и его. Он спешит.

В этот момент произошло самое худшее: пассажиры в салоне проведали о тайне. Проговорилась стюардесса — невеста радиста.

Началась паника, люди метались из стороны в сторону. Кто плакал, кто кричал, кто замер от ужаса. Нервный господин рвал на себе волосы.

Мина всё не обнаруживалась. А время шло. Подошёл радист и застыл, безмолвный, перед Жераром.

Я пристально смотрел на Жерара, стараясь понять, о чём он думает. Мне казалось, что сам он готов погибнуть, но долг напрягает все его силы, именно поэтому он так крепко держит штурвал. В дверь стучали обезумевшие пассажиры. Вот что-то разбилось, послышались дикие крики.

— Мы с тобой, Жерар, — сказал я ему на ухо.

Жерар улыбнулся нам.

Заставить себя улыбнуться! Ничто сейчас не потребовало бы, наверное, большего напряжения воли.

Мы летели на север. Время — шесть тридцать... Справа над океаном поднимался молочный рассвет. Это был какой-то величественный, звенящий рассвет. Казалось, он наполнил весь мир чудным серебряным звоном. Жерар обернулся, грустно взглянул на нас. По его щеке скатилась слезинка, прозрачная, как этот рассвет.

«Сколько раз в моей жизни занималась заря, но такой прекрасной я ещё не видел...»

«Неужто последняя?..»

«Я всё ещё не верю: кому это нужно, чтобы столько невинных людей превратились в пепел?»

«В наше время, брат, может случиться всё...»

Мы сидим рядом с Жераром. Зеркало напротив отражает наши лица. Обмениваясь взглядами, мы мысленно беседуем друг с другом.

«Нет, я не верю. Перерыл всё кругом. Бомбы нигде нет. Возможно...»

«Не утешайте. Бесполезно. Сейчас у меня одна цель — не позже чем через восемнадцать минут приземлиться...»

«Но как успеть, ведь до суши...»

«Я должен успеть».

Мой взгляд, наверное, стал бессмысленным, ибо Жерар обернулся ко мне:

— Говорите! А не то я начну вспоминать всю свою жизнь.

Зазвучало знакомое «ти-ти-та». Это радист подаёт в эфир свои ориентиры.

Ослепительно сверкая, взошло огромное солнце. Океан почему-то сделался ещё ближе. Он был таким чистым и спокойно голубым, что я невольно загляделся.

Моторы ревут, они готовы, кажется, разорвать самолёт. Машина, словно чувствуя свою неизбежную гибель, сама спешит в чёрную пасть небытия.

...Осталось восемь минут.

Самолёт нырнул в облака. Быстрое снижение равносильно гибели, но убавить скорость — значит тоже погибнуть.

Неожиданно внизу засветились красные огоньки. Сигналы на посадку. Надо сбавить скорость, но для нас это немыслимо. Осталось три минуты, две...

Бесчисленные красные лампочки на крышах аэродрома, на посадочных площадках и дорожках предупреждали об опасности. Среди этих кровавых пятен выделялась ярко освещённая прожекторами трасса — на неё мы должны были сесть. Корабль наш внезапно закачался — пассажиры увидели землю и подняли беспорядочную беготню. Время истекало. Кончалась жизнь...

Земля совсем близко. Но последняя минута тянется мучительно долго.

Ровно в шесть часов пятьдесят минут оборвался рёв моторов. Вместе с ним оборвались и сердца. Казалось, в мире уже нет живой души.

Пилот взглянул на меня.

«Прощай, друг», — прочитал я в его глазах. Но губы его сказали другое:

— Я всегда знал, что советские парни именно такие.

— Жерар, время прошло!..

— Время прошло, но это не значит, что опасность миновала.

Жерар выпустил шасси. Корабль пулей ринулся на землю. Страшный толчок — самолёт коснулся дорожки.

Взрыва не было.

Мгновенно распахнулись дверцы, и салон наполнился зловонным запахом горящей резины. Самолёт ещё не остановился, а пассажиры уже выпрыгивали из него.

Люди бежали как от холеры.

Раздавались стоны и крики. Спрыгнувшие благополучно, обезумев от страха, бежали прочь от страшного места.

Жерар, откуда-то раздобыв машину, плавно остановил её у самолёта. Мы хотели погрузить и увезти подальше тех, кто уже не в силах был двигаться. Подняли двух женщин. Одной из них оказалась Хаккая. У неё была сломана левая нога.

Я не мог поднять девочку. Что-то в это мгновение ослабило мои руки, лишило сил. Я даже забыл о том, что рядом находится самолёт и он может взорваться каждую минуту. Я искал и не мог найти матери Хаккаи, не мог найти эту милую японскую женщину, которая мечтала о счастье своей дочери. Передо мной как призрак появился нервный господин.

— Я стал балериной. Я найду ваш карандаш! — кричал он в каком-то бреду.

Вместе с Жераром мы погрузили раненых и увезли с лётного поля. Издали стали ждать взрыва самолёта. Теперь и я желал, чтобы эта проклятая машина взорвалась скорее.

Но она не взорвалась...

Хаккая стоит у меня перед глазами.

* * *

Самолёт так и не взорвался.

Позже мы узнали: в самолёте не было ни мины, ни бомбы. Машина принадлежала частной авиакомпании. Хозяева другой, конкурирующей с ней авиакомпании дали в эфир ложную радиограмму, — хотели отбить пассажиров у конкурента. Оказывается, бизнесмены часто прибегают к подобным провокациям.

И действительно, как я узнал впоследствии, на этот самый самолёт долго никто не покупал билетов.

Жаждущий у родника

Известно, что в Италии много певцов. Тут музыкальны все, то ли от рождения, то ли вдохновлённые красотою природы.

Особенно любят петь дети. Бегут ли они по улице, размахивая стопками газет, стоят ли на углу, громко расхваливая каштаны и кактусы, — они всегда распевают песни.

Песня помогла мне познакомиться с одним мальчиком. Я покупал у него кактус. Уравновешивая чашу весов, он напевал «Санта-Лючию». Я очень люблю эту песню, поэтому невольно стал подпевать.

Так мы и познакомились. На вид ему лет двенадцать, звали мальчишку Пьéтро. Его узкие брючки, запачканные липким соком кактуса, поблёскивали, кудрявые волосы были запорошены мелкими белыми цветочками.

— Ты, Пьетро, очень счастливый! — сказал я.

— Почему? — удивился Пьетро.

— Такие удивительные места... Памятники... И всё рядом. Из каких только стран не приезжают люди, чтобы посмотреть Италию! Вот я... десять тысяч миль проехал. А ты живёшь в этих чудных местах и можешь любоваться ими, когда и сколько тебе захочется.

Странно: Пьетро, наверно, не совсем понял меня.

— Что тут удивительного? — пожал он плечами.

— Ну как же? Вот против тебя Везувий. Сколько легенд мы слышали про этого огнедышащего великана! На той стороне знаменитые развалины Помпеев. Разве это не счастье — жить рядом со всем этим? А вон прекрасный Капри. Так близко! Про «Голубой грот» на этом острове только и говорят туристы. Где ещё можно увидеть такое чудо природы!

— Красиво?! — Пьетро снова пожал плечами.

Я, признаться, был очень удивлён этим вопросом.

— А по-твоему, некрасиво?

Пьетро с грустью покачал головой:

— Не знаю. Я... не видел... Я не был у Везувия, ни в Помпеях, ни на Капри. Всё это за деньги... Надо иметь много денег, а у меня их нет.

Тут уж грустно стало мне. Действительно, всей этой красотой здесь торгуют. Всё принадлежит частным людям. Чудо природы — «Голубой грот», например, находится во владении какой-то богатой дамы. Она поставила кассира у входа в парк и продаёт билеты за сколько ей вздумается.

Чтобы как-то утешить Пьетро, я сказал ему:

— Ты обязательно увидишь Помпеи и «Голубой грот».

— Я откладываю деньги, — ответил Пьетро. — Но раньше мне нужно повидать своего папу. Если я не увижу Помпеи, ничего со мной не случится.



Надо иметь много денег, а у меня их нет.

— А... а где твой папа? — спросил я.

— Папа в Сорренто, работает там лодочником.

Я улыбнулся:

— Ну, Сорренто ведь рядом! И пятнадцати километров не будет. Можно пешком добраться.

— Дорога-то чужая. Разве можно по ней шагать, не заплатив денег!

Изумлению моему не было предела. Дорога чужая? Такая широкая, длинная дорога?! Что бы случилось с этой дорогой, если бы Пьетро припустился по ней во весь дух и явился к своему отцу? Не лопнула бы эта дорога!

В голову мальчика не приходят такие мысли. Порядки, заведённые в Италии, существуют давно, задолго до того, как родился Пьетро. Мальчик и не представляет себе, что может быть иначе. А я вот не могу с этим смириться. Почему кто-то присвоил себе дорогу и преграждает путь пешеходу, требует деньги? Почему естественный родник имеет хозяина, а за то, чтобы взглянуть на руины древнего города, человек должен отдать последние гроши? Ведь не руками же этих господ созданы красоты Италии!

Места, где живёт мальчик, некогда обожгла лава, выброшенная из кратера Везувия. Там, где прошёл огненный поток, много лет ничего не росло. Поэтому почву для садов людям пришлось носить сюда своими руками с берега моря, в корзинах. Однако денег, заработанных невероятным трудом, таким людям, как Пьетро, не хватает даже на то, чтобы съездить к отцу. О замечательной Помпее или о прекрасном Капри и говорить не приходится! Красота их мальчику недоступна.

Мои слова: «Ты, Пьетро, очень счастливый!» — были произнесены необдуманно.

Дед и внук

Прежде всего я объясню вам, что такое бечак. Это трёхколёсный велосипед — один из основных видов городского транспорта в Джакарте. Задние два места предназначены для пассажиров, они защищены зонтиком, а сидящий впереди, в седле, крутит ногами педали.

Бечакисты — так назовём мы этих «велосипедистов» — большей частью подростки. Они любят свои коляски, разрисовывают их очень затейливо и дают им самые разные, удивительные названия: «Овод», «Шайтан», «Луч», «Пантера», «Беркут». Причём рисунки и названия не повторяются.

При выходе с площади Мердека[1] я очутился на стоянке бечаков. Тут их было несколько десятков. Хозяева в меру своего красноречия расхваливали бечаки, на разные голоса зазывали пассажиров. Одна из колясок привлекла моё внимание. На её голубом крыле, на фоне искусно нарисованных джунглей, яркой киноварью было выведено: «Спутник». Увидев это русское слово в многолюдном большом городе, за тридевять земель от нашей Родины, я невольно взволновался.

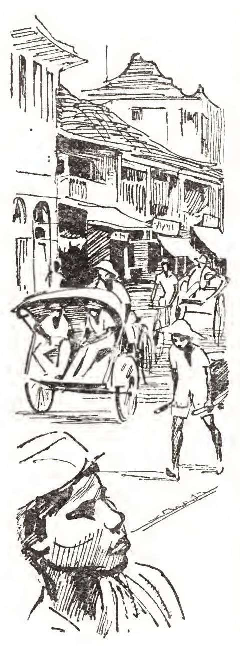
Подросток, заметив, что его коляска привлекла внимание, преградил мне дорогу:

— Садитесь! Прошу, садитесь... Хоть до самого базара.

Я смотрел на подростка и думал о рисунке. Не верилось, чтобы этот худой, жилистый бечакист, днём и ночью гоняющий свою коляску, так владел кистью.

Подросток настаивал—я был в нерешительности. Ведь бечакист — это по сути дела модернизирован-

[1] Мердéка — свобода.



ный рикша. А рикша для меня с детства символ бесправия и эксплуатации.

Бечакист, почти что мальчик, запрягшись в эту коляску, зарабатывает себе хлеб насущный.

— Как зовут тебя? — спросил я.

— Банг-Банг! — радостно улыбнувшись, произнёс мальчик. «Есть пассажир!» — должно быть, подумал он.

Банг-Банг живо вскочил в седло и поставил на педаль худые, потрескавшиеся от пыли и жары, босые ноги. Я не в силах был отказать ему.

— Ладно, покатаешь ты меня, потом я тебя! — сказал я и сел в коляску.

Банг-Банг, должно быть несказанно удивлённый услышанным, обернулся назад и посмотрел на меня — мол, в своём ли уме пассажир?

— Куда?
— Прямо, — наугад ответил я.
«Спутник» помчался по мостовой.
— Вперёд, «Спутник»! — задорно крикнул я.
И Банг-Банг в порыве мальчишеского азарта погнался за другими бечаками. Он летел быстрее всех. Очень скоро мы очутились в пригороде.
— Стой! Теперь моя очередь везти тебя! — крикнул я.
Банг-Банг остановился, словно не веря моим словам, с сомнением взглянул на меня. Я занял его место и сказал:
— Садись! Посмотрим, кто быстрее!
Банг-Банг возил других, но сам, должно быть, сроду не сидел под зонтиком. Смущаясь, он залез на сиденье и неловко там устроился. Взгляд мальчика выражал заметное беспокойство, и даже его улыбающееся лицо не могло скрыть тревоги.
— Вперёд, «Спутник»! — задорно крикнул я и, вздымая пыль, помчался.
— Куда вам? — крикнул Банг-Банг.
— А куда ведёт эта дорога?
— В деревню.
— В какую деревню?
— В Кинтамони. Это наша деревня!
Мы весело разговаривали. Голоса наши, уносимые ветром, растекались в камышовых зарослях.
Переехав через мост, я остановился на полянке под деревом манго. Среди благоухающих тропических садов, вороша мелкие камни, текла горная река. Прислушиваясь к журчанию этой хрустальной реки, я вспомнил Янги-сай в Фергане.
— Значит, в деревне живёшь?

— Да, дедушка никуда не хочет уезжать. Давали нам в Джакарте жильё — не поехал.

— Чем занимается твой дед?

— Я внук Субанто!

Банг-Банг произнёс это так, словно его деда должен был знать каждый.

«Субанто, Субанто»... — повторял я мысленно.

— Это ты так расписал бечак? — спросил я.

Банг-Банг словно бы обиделся. Он как-то странно взглянул на меня, ничего не ответил и продолжал сидеть, обняв свои колени. Я снова стал с любопытством рассматривать роспись на крыльях коляски и внезапно вспомнил:

— Субанто? Художник Субанто! Гаджа Субанто?

Мальчик преобразился. Теперь он взглянул на меня как на своего доброго знакомого. Затем, взволнованный, встал и без передышки рассказал о себе всё: что он, подобно деду, тоже хочет стать художником, что это он сам разрисовал бечак и сам придумал ему название, что живёт он вместе с дедом и что их деревня самая красивая на свете.

Я думал о Гаджи Субанто. В одном из музеев я видел его прекрасные картины. Неужели удастся встретиться с одним из лучших художников Индонезии?!

— Кинтамони далеко? — спросил я и начал рассказывать про виденные мной картины Субанто.

Банг-Банг, оказывается, страсть как любил поговорить о живописи. Он прямо-таки расцвёл...

— До деревни нашей недалеко. Во-он, около самой каучуковой плантации. Дед мой всё жалуется, что ему никак не удаётся поговорить с человеком, знающим живопись. Вы должны поехать к нему. Прошу вас! Садитесь!

Банг-Банг снова вскочил в седло. Его «во-он» оказалось равным по меньшей мере двадцати километрам. Мы выехали в долину, окружённую высоченными, стройными пальмами. В воздухе стоял благовонный запах кокосового масла. Проехали через тёмные аллеи красных папайя, огромные набухшие от влаги листья которых густо переплелись и спрятали дорогу от солнца.

— Даже когда льёт сильный тропический дождь, сюда не попадает ни капли, — объяснял мне Банг-Банг.

Очень влажным был здесь воздух. Я пытался, но никак не мог втолковать Банг-Бангу, что у нас зима сменяется весной и что летом мы с нетерпением ждём поры золотой осени. В его стране все двенадцать месяцев одинаковы. Если одно дерево наряжается цветами, то другое отягощается налитыми, сочными плодами. Если на одном только что прорезаются почки, то другое подставляет ливню густую листву...

Природа обновляется здесь каждое мгновение. Индонезия — это море, нет, не море — океан зелени, который, кажется, готов затопить всё вокруг.

Нам встретились женщины-крестьянки. Они что-то расстилали на земле для сушки. Женщины поздоровались с нами. Банг-Банг остановился, соскочил на землю и побежал в их сторону.

— Сейчас напьёмся и поедем дальше! — крикнул он мне.

Подбежав к женщинам, юноша взял что-то похожее на серп, прикрепил его ручку к своему запястью и начал взбираться на кокосовую пальму, которая гигантской дугой взмывала к поднебесью. По голому стволу Банг-Банг поднимался с непостижимой для

меня быстротой. За несколько минут он взлетел на высоту почти что пятнадцатиэтажного здания и оттуда казался совсем крошечным. Плоды на этом дереве, видно, чем-то не понравились моему верхолазу, и он, вытащив из-за пазухи аркан, накинул его на вершину соседней пальмы и с обезьяньей ловкостью в одно мгновение перебрался на неё. Затем взмахнул серпом, и три «орешка», каждый величиной с арбуз, полетели на землю. Они остались целёхонькими, хотя упали с восьмидесятиметровой высоты. Ещё не успел я прикинуть один из них на руке, как рядом со мной появился Банг-Банг.

Ловко срезав своим серпом тупой конец плода, он протянул мне кокосовый орех. Диво! Приготовленный природой лимонад! Сладкий и... холодный!

— Теперь я повезу тебя! — преисполненный энергии, сказал я.

Банг-Банг приветливо улыбнулся. Доверие и симпатию почувствовал я в его улыбке.

Мы прибыли в Кинтамони. Это была маленькая деревня: всего несколько домов, крытых черепицей, без дымоходных труб, и буквально утопавших в зелени.

Банг-Банг вошёл в один из домов. Через минуту оттуда послышался нетерпеливый возглас:

— Зови же его сюда, скорей!

Как только я переступил порог комнаты, сидевший в кресле старик с аккуратно расчёсанной жиденькой белой бородкой встал с места. Он был высок ростом, одет в длинный белый халат. Старик заговорил неожиданно громко. Его голос звенел какой-то внутренней радостью.

— Неужели Банг-Банг сказал правду? Поверите ли, вот уже десять лет как я не беседовал с челове-

ком, разбирающимся в нашем деле! Пожалуйста, пожалуйста, подойдите...

Вытянув руки перед собой, он будто старался что-то нащупать в пустоте. Я невольно подался вперёд. Поймав мою ладонь, он притянул меня к себе, ощупал мои плечи.

Старик был слеп!

Сердце моё сжалось от боли. Я стоял в растерянности. Но новый приветливый и радостный возглас старика привёл меня в чувство.

— Я покажу вам свою галерею, все свои картины. Всё! Попались мне в руки — теперь не отвертитесь!

Это говорил Субанто. Знаменитый Гаджа Субанто! Когда он был зрячим, глаза его непременно должны были изливать свет. Но художник слеп.

Художник, лишённый света, тени, красок! Художник, лишённый возможности видеть сказочную страну, её ослепительные цветы, бездонную голубизну её прозрачного экваториального неба!..

Старик прервал мои раздумья:

— Банг-Банг! Ты приготовил гостю кофе? Если вы не устали, мы тотчас начнём осматривать галерею.

— Нет, нет, дедушка! Гость устал... — Стоя у порога, Банг-Банг, чем-то напуганный, делал мне рукой какие-то знаки. — Гость вёз меня на бечаке и должен теперь искупаться...

Мальчик хотел ещё что-то сказать, но дед, засмеявшись, согласился с внуком.

— Ах ты, хитрец эдакий—самому захотелось искупаться. Ну уж ладно, идите. Только потом будем работать до вечера, знайте же! — сказал он.

Банг-Банг поспешно увёл меня к водоёму. Лишь

после того как мы уселись на большой белый камень у самого берега, он вздохнул с облегчением.

— Уф... Ну и испугался я! Боялся, не поймёте моих знаков...

— Я и сейчас ничего не понимаю... Ты действительно собираешься купаться?

— Купание — только повод. Мне надо кое-что сказать вам...

Банг-Банг, поглядывая на горбившиеся пеной волны, задумчиво начал свой рассказ:

— Когда компетаи — японские шпионы — увели деда, мне было шесть лет. Увели моего любимого деда, художника, тогда ещё зрячего. Увели навсегда.

В то время я не понимал, что произошло. Через несколько лет, услышав от соседей слова: «Такому человеку, как Субанто, оттуда возврата нет», — я пришёл в ужас. Потом пришли голландцы, и соседи стали утешать меня. «Если только жив, то теперь, конечно, вернётся!»

Я уже сам зарабатывал себе кусок хлеба. У меня была коляска. Даже грамоте выучился. Стал понемногу рисовать. А работы деда надёжно спрятал. «Если за эти картины можно посадить человека, значит, они что-то стоят и их надо беречь», — думал я.

Дед всё не возвращался. Однажды в руки мне попала листовка партизан, и вот что я узнал из неё...

Банг-Банг вытащил из-за пазухи пожелтевший лист бумаги и протянул мне. Это была речь Субанто против голландских колонизаторов, произнесённая им на суде: «Господа судьи, вы просили меня назвать имена людей, оказавших влияние на мои

взгляды. Это целый народ — голландцы. Я был восхищён борьбой голландцев против фашизма. Голландский народ, как и наш народ, любит свою страну, любит свободу. Поэтому тысячи голландцев-антифашистов отдали свои жизни за свободу родины. Они и были примером для меня».

Мне представился светлый облик отважного Субанто, а в ушах звучал его сильный голос.

— После суда, — тихо продолжал Банг-Банг, — к нам пришли с обыском. Голландские офицеры взломали замок, начали рыться в комнате деда. Выбрав самые лучшие картины, они погрузили их в машину. Даже тогда, когда японцы уводили деда, я не плакал так, как теперь. Я вошёл в дом и увидел, что из пятидесяти четырёх акварелей осталось только семь. Что делать? Что сказать деду, когда он вернётся?

Через два года дед действительно вернулся. Он был худ как скелет, болен, бессилен и... слеп на оба глаза! Признаюсь вам, хоть и ужасно, наверное, но я тогда даже подумал: «Лучше бы он умер...»

Ведь я понимал, что искусство для него дороже самой жизни. А как он будет жить слепой?

Мне страшно было при мысли, что дед станет искать свои картины. Но он даже не заговаривал о них.

Постепенно силы стали возвращаться к нему, появился интерес к людям. Дед подолгу беседовал с друзьями, много рассказывал сам. Через некоторое время заговорил и о своих картинах.

Я не решился рассказать ему правду — нельзя было. Я всё думал, думал и, наконец, пришёл к убеждению: пусть это жестокий обман, но другого выхода нет; в пустые папки из-под акварелей я вложил кар-

тонкие листы и расставил их в прежнем порядке в галерее. А деду сказал: «Всё на месте, я всё сохранил».

После этого — хотите верьте, хотите нет — дед за два дня выздоровел. На ощупь он проверил свою галерею, сделал знаки, надписал номера на картинах и часами стоял у каждой из них, словно разглядывал. Мне казалось, что дед сравнивал краски и оттенки, оценивал мастерство, вложенное в картину. Иногда он подставлял акварель к окну, к свету и, склонив голову набок, задумывался. Я прошу вас: не проговоритесь нечаянно. Он покажет вам все картины, будет подолгу говорить, и вы во всём соглашайтесь с ним.

Рассказ мальчика произвёл на меня неизгладимое впечатление. Я обнял его за плечи, привлёк к себе.

— Ты бы искупался!

Но он отрицательно покачал головой. В глазах мальчика таилась тревога. Он, должно быть, не очень надеялся, что роль удастся мне.

Опасения Банг-Банга были напрасны — я не подвёл его. Когда старик привёл меня в одну из комнат и, неторопливо развязывая папки, стал выставлять на моё обозрение один за другим картонные листы, я, подражая ему, подолгу смотрел на них.

Не все листы были чистыми. Я понял, что на некоторых из них Банг-Банг пытался восстановить в меру своего дарования работы деда. Он, разумеется, рисовал по памяти. Бедный Субанто... Если бы он знал!

— Вот, взгляните на это, маэстро! — произнёс он, выставляя на свет осторожно извлечённый из папки чистый лист серого картона.

Банг-Банг, должно быть, не решался восстанавливать на память то, что «показывал» мне сейчас Субанто. Художник с нежной влюблённостью заговорил о своём детище.

— Вы взгляните вот на это сияние! — повторил он, осторожно коснувшись пальцем одной, только ему ведомой точки. — Эти краски я искал в палитре семь месяцев. И всё-таки нашёл. Смотрите, нашёл!

Старик говорил так увлечённо, так искренне, что если бы я, забыв на мгновение предупреждение Банг-Банга, каким-нибудь неосторожным словом выдал жуткую истину, то очарованная ложью душа художника несомненно надломилась бы. Старик не видел навернувшихся на мои глаза слёз.

Я по возможности искренне произнёс несколько одобрительных фраз.

— Теперь взгляните сюда, — сказал старик, беря в руки другой чистый лист. — Это вам знакомо? — Он светло, по-юношески улыбнулся.

Я догадался, что должно было находиться в этой папке:

— Э, да это же любимая мной «Весна белых цветов»!

Картину эту я знал по репродукциям и потому искренне восхищался воображаемым чудом. Слова восторга лились рекой.

Старик обнял меня. Затем, отвернувшись в сторону, вытер глаза.

— Простите, — сказал он. — Я о своих картинах давно не говорил со знатоком. Показывал обычно соседям, но они, знаете, как-то просто скажут: «Да, да, очень хорошо» — и уходят. А вы... Спасибо вам. Сегодня у меня большой праздник.

— Я только отдаю должное вашему искусству.

— Спасибо. А теперь покажу-ка я вам номер тридцать седьмой. Видите? Я написал этот вид прямо с крыши нашего дома. Вглядитесь хорошенько. В природе сейчас такого уголка нет. Пришельцы сожгли его, уничтожили огнём артиллерии. Моё произведение ценно тем, что оно увековечило некогда волшебную красоту прекрасной Явы.

Это было одно из нескольких уцелевших полотен Субанто. Глядя на картину, нельзя было не почувствовать, как глубоко очарован художник красотой своей родины.

Среди тысячи прекрасных островов Ява воистину самый красивый. На картине изображён один из её волшебных уголков. Могучие вечнозелёные деревья громоздятся друг над другом, располагаясь террасами. На верхней террасе густые штыки листьев пандануса и бамбука, разрезая воздух, тянутся к синеве. Казалось, что джунгли наполнены тысячами таинственных звуков...

По просьбе деда Банг-Банг повёл меня на крышу, туда, где Субанто писал эту картину.

Вдали неподвижно высились заросли девственного леса. Ближе чернели обгорелые пни, зияли чёрными пастями ямы.

Банг-Банг, окинув взглядом долину, с грустью произнёс:

— На картине изображено вот это самое место.

Я понимал мальчика.

Мы долго смотрели на мёртвую землю. Между чёрными пнями на отдельных клочках что-то зеленело. Я вгляделся пристальнее.

— Рис там сеют. Скоро всё зазеленеет... если будет мир, — сказал Банг-Банг.

Да, мой юный, но уже много переживший друг, эти места, конечно, зазеленеют. Теперь люди в силах не дать разгореться новому губительному пожару. Труженики твоей земли возродят из пепла царство зелёной весны, а ты вернёшь им искусство твоего деда! Только, юный Банг-Банг, цени, береги, почитай за святыню эту мученическую землю, которую защищал дед и которая останется тебе в наследство.

В окно

В Иокогаме я немного прихворнул и был вынужден сидеть в отеле. Любоваться незнакомым городом из окна — обидно. Но что поделаешь!.. Всякое случается. Пришлось заглядывать в этот чужой мир через окно.

Погода ясная. Ослепительно белеют цветы сакуры — японской черешни. Из окна я вижу узорные решётки большого парка, чистые и тенистые аллеи.

По одной из них медленно идёт пожилой человек. Ему лет пятьдесят. Он довольно высок ростом, плотный, плечистый.

На поводке он ведёт собачку, которая рядом с ним кажется белой пушинкой. Эта пушинка беспрерывно вертится и заставляет большого человека идти туда, куда ей захочется. Мне подумалось: «Кто кого ведёт на поводу — человек собаку или собака человека?»

Я видел их и вчера и позавчера. И уже представлял, что не один и не два дня, а все двенадцать месяцев вот так ходит за этим щенком человек. Когда ще-

нок задерживается на углу или в кустах, мужчина, словно выполняя важное дело, угодливо ждёт его, держа обеими руками поводок. Ну, а если щенок захочет порезвиться, поскачет, скажем, за мухой, этот солидный большой дядя бежит за ним...

И так ежедневно... Он, должно быть, приставлен к этому щенку — слуга какой-нибудь праздной дамы... Вернее, слуга её собачки.

Напротив моего окна лавка с высоким крыльцом.

На улице жарко.

По горячему асфальту шагает босая, очень худенькая девочка. Согнувшись в три погибели, она несёт на спине огромную бамбуковую корзину, наполненную пустыми бутылками. Рядом с ней, лениво пожёвывая резинку, беспечно шагает широкоскулый, черноусый, атлетического сложения юноша. Ботинки у него на толстой подошве, раскалённый асфальт ему нипочём. А девочка обжигает пятки. Она торопится...



Выносливая, наверное, эта девочка, дошла всё-таки до лавки. Осталось только взобраться на высокое крыльцо. Вот она поставила ногу на первую ступень. Мне не видно её лица, но я догадываюсь: собрав последние силы, она намерена не переводя дыхания взбежать наверх. Корзина на её спине

от резкого движения колыхнулась, три бутылки из-под кока-колы упали на цемент и разлетелись вдребезги. Девочка, не останавливаясь, на какое-то мгновение обернулась и... взбежала на крыльцо.

Легко взбежала... Так казалось со стороны.

На самом деле, для этого броска вверх девочке пришлось израсходовать все свои силёнки, до последней капельки. Я это увидел по её перекошенному болью личику.

Выполнив своё дело, девочка вышла на улицу. Следом за ней спустился тот самый щеголеватый юноша.

Девочка протянула к нему руку. Он, видимо, должен был заплатить ей за доставку корзины с бутылками. Юноша указал пальцем на валявшиеся осколки и пренебрежительно оттолкнул девочку.

Она не ушла.

Юноша прикрикнул на неё, отвернулся, заговорил с прохожим.

Он забыл о ней.

Девочка, опустив голову, прихрамывая, медленно пошла прочь, оставляя за собой капли крови.

Осколок порезал ей ногу.

«Буду сражаться и одолею!»

На этот раз я познакомлю вас с мальчиком, по имени Виллем. Ему лет четырнадцать, он сухощавый, длинный. Каштановые волосы кудрями свисают из-под чёрного берета. В руках он постоянно держит весло... Виллем — голландец. Он знает то, что вам неведомо.

Вы видели, например, чтобы река текла вспять? А Виллем видел.

В городе, где живёт Виллем, улиц нет, вместо них каналы...

Сказки, говорите? Нет. Для Виллема это естественно. Напротив, если бы всё было по-другому, он подумал бы, что попал в сказку.

Чтобы вы лучше познакомились с Виллемом, я расскажу вам немного про его родину.

В отдалённые времена, когда поднявшиеся воды океана образовали пролив Па-де-Кале, отделивший от Европы Британские острова, земли современной Голландии оказались под водой. Народ Голландии с трудом отвоёвывал сушу у моря. Маленькая страна стала прекрасной благодаря борьбе многих поколений с океанской стихией.

Потому-то на древнем гербе этого народа изображён сражающийся с волнами тигр, а под ним подпись: «Буду сражаться и одолею!» Эта битва продолжается и сейчас, каждодневно, ежечасно.

В одной голландской пословице говорится: «Моря создал бог, берега создали мы».

И действительно, вдоль морских берегов на протяжении тысячи с лишним километров возвышаются многометровые естественные преграды — дюны, искусственные дамбы и плотины. В иных местах ширина плотин достигает ста метров. А общая длина их вдвое превышает длину всех железнодорожных путей страны.

Земли, защищённые от морских волн искусственными преградами, здесь называют маршами. Голландия — страна маршей, расположенных ниже уровня моря.

Во время морского отлива высыхают очень боль-

шие площади. Земли эти называют ваттами. Народ стремится отнять ватты у моря, приспособить их для нужд человека. За последние годы осушено и освоено немало земли.

Но опасность наводнения существует всегда. Иной раз гигантские волны внезапно обрушиваются на берег, в мгновение размывают, уничтожают плотины, и снова на месте маршей бушуют морские волны.

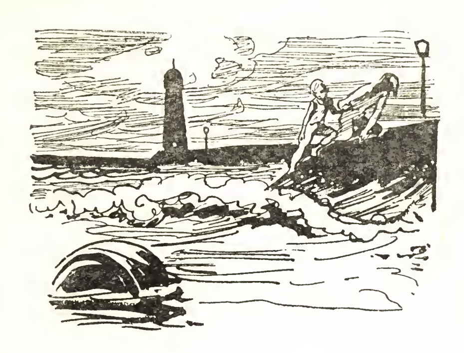
Маленький Виллем однажды был свидетелем такой катастрофы. Ему тогда едва исполнилось девять лет.

Мы познакомились с мальчиком в Амстердаме на катере, в плавании по каналам-улицам города. Он работал учеником моториста.

Моторист немного знал русский и рассказал нам историю Виллема. Тот почувствовал, что речь зашла о нём, стал задумчивым, грустным. Он, должно быть, вспомнил что-то страшное, потому что боль исказила его лицо.

— И дед Виллема, и дед его деда погибли в борьбе с морем, — начал моторист. — Лет шесть назад Виллем и его отец жили в одном из прибрежных городков и занимались рыболовством. Однажды они проснулись от страшного шума: ревела буря. Фантастической силы ураган сносил с домов крыши, с корнем вырывал деревья. Трудно в это поверить, но даже реки потекли вспять... Люди знали, что́ несёт им ураган, и поэтому они бежали из города. Но спастись удалось не всем. Тысячи охваченных ужасом людей были настигнуты и накрыты морскими волнами.

Виллем обвил шею отца руками и вцепился зубами в его волосы. Их обоих в течение шести часов носило по бурным метущимся волнам, бросало на де-



ревья, на бочки, на камни. У отца вытек проколотый острой веткой глаз, сломалась рука, хлынула кровь горлом. Но и в таком состоянии он не оставил сына. Вместе с ним вскарабкался на бревно, а затем на склон какой-то дамбы. Обессиленный, он едва слышно прошептал:

— Ты что-нибудь видишь — людей, дома?

— Ничего...

— Посмотри хорошенько, — уткнувшись лицом в землю, прохрипел отец, — может быть, заметишь крыши домов.

Виллем долго и пристально смотрел вокруг.

— Кроме моря, я ничего не вижу...

Отец не услышал ответа. Он был мёртв.

— Многие погибли в борьбе с морем, — сказал моторист. — Я и сам тогда чудом выжил. После четырёх дней пути с семьёй добрался в Амстердам и свалился на его улицах. Вместе с нами был и он. — Моторист кивнул на Виллема.

Потом он что-то сказал на своём языке Виллему. Мальчик внимательно посмотрел на нас. В глазах его блеснули слёзы. Моторист ласково похлопал Виллема по плечу.

— И вы, дорогие гости, помогли нам с Виллемом подняться на ноги. — Его лицо озарилось доброй улыбкой. — Помните, в феврале тысяча девятьсот пятьдесят третьего года ваш великодушный народ оказал помощь жертвам стихийного бедствия? Моя семья, в том числе и Виллем, тоже получили деньги. Мы купили хлеба, одежды. Потом я нашёл работу и Виллема посадил за вёсла.

Все на катере примолкли, задумались.

Мы любовались каналами, омывавшими каменные стены многоэтажных домов.

А Виллем по-прежнему внимательно посматривал на нас, и в глазах его светилась благодарность.

Кактус

От порта Пирей до столицы Греции Афин километров пятнадцать. Дорога очень красивая. По обе её стороны до самого горизонта тянутся цепочки ярко-зелёных холмов.

Мы остановили автобус в тени маленькой рощи. Туристам захотелось полюбоваться местностью. Моё

внимание привлекли торговцы кактусами, устроившиеся тут же на обочине. Я подошёл к одному из них.

Это был молодой человек лет двадцати пяти, очень смуглый, мускулистый. Выбрав тенистое место, он поставил свой ящик на колёсиках, наполненный сочными плодами [1]. На моих глазах грек поругался с одним очень бедно одетым покупателем из-за лишней дольки кактуса.

«Какой жадный», — подумал я.

Но через мгновение пришлось отказаться от этой мысли. Перед продавцом остановилась девчушка с грязными ручонками и с не менее чумазым личиком и жадно уставилась на кактусы. Он вдруг выбрал три больших плода и положил их в подол девочки.

— Отправляйся-ка домой! Да не забудь умыться! — сказал он ей и снова принялся расхваливать свой товар перед туристами.

— Ка-актус! Во рту вашем растает сладкий кактус.

Нам, писателям, часто в едва заметном движении души видится её тайна, и мы начинаем искать разгадку этой тайны.

Вот и мне показалось, что в поступках молодого продавца кроется какая-то тайна. Но, увы, автобус наш тронулся, и человек со своим ящиком промелькнул словно кадр фильма.

Мы снова любовались прекрасными холмами древней Эллады, вспоминали удивительное прошлое этой страны.

А молодой продавец кактусов не выходил у меня из головы. Странный он! Из-за дольки повздорил с бедняком, а девочке подарил целых три плода.

[1] Плоды некоторых кактусов съедобны.

«Видно, очень любит детей», — решил я.

Через два дня судьба неожиданно вновь свела меня с молодым греком.

На этот раз я встретил его на разрушенных ступенях Акрополя. Перед ним стоял всё тот же ящичек на колёсах, наполненный кактусами. Грек узнал меня. Мы разговорились. Я спросил: почему он так поступил тогда на дороге?

— Э-э, гириос[1], — ответил грек. — Если дитя жадно смотрит на еду, не отказывай ему. У меня в жизни был один случай... Если не очень спешите, расскажу вам о нём.

Я охотно согласился.

— Мне шёл пятнадцатый год, — начал продавец. — Я с закрытыми глазами мог найти любую тропинку в горах Марафона. Об этом знали скрывавшиеся в горах патриоты — они не раз обращались ко мне за помощью.

Однажды «Дед» приказал отнести в горы мешок плодов кактуса. Он был молод, но за ум и мудрость его называли Дедом. Я согласился, хотя, признаться, задание было трудное. Всюду рыскали фашисты, а если на них наткнёшься, пощады не жди. И всё-таки я согласился. Знал, что партизаны голодны, что они питаются кореньями растений, хлеба не было даже в деревне. Надо было поддержать их силы.

В помощь мне дали ещё одного мальчишку, приказали чередоваться, а на большом подъёме нести мешок вместе. Я знал этого мальчишку с отвисшими ушами и не любил его. Он воровал свёклу в огородах. Звали его Ко́ста.

Когда взбираешься на гору, вся тяжесть груза падает на идущего сзади.

[1] Гириос — приятель (греч.).

Я решил проучить этого вислоухого. Идём мы по крутой тропинке: я — впереди, он — сзади. Несём мешок. Обернулся — вижу, что жилы на его висках вздулись, а глаза готовы выскочить из орбит. Поскользнулся он, и камни заскрежетали под ногами. Я хотел было отругать мальчишку, да жалко стало: худущий он, шея и ноги как жёрдочки.

В то время травы в горах уже пожелтели, а колючки впивались в ноги, словно ядовитые иглы.

Кругом тихо, только за моей спиной слышно тяжёлое дыхание и сопение Коста.

— Отдохнём немножко, — сказал он.

Мы остановились. Коста пошатнулся и чуть не упал. У него кружилась голова.

— Жара уморила? — спросил я.

— Нет.

— Голодный?

— Не-ет. Запах цветов крепкий больно, тошно от него.

— Ничего особенного. Тебе просто кажется. Совсем и не крепкий.

Я решил проверить, не помялись ли плоды, открыл отверстие мешка. Аромат плодов так и ударил мне в нос. Я невольно сглотнул слюну. Коста, видевший это, как-то странно взглянул на меня, его тоненькая шея, показалось мне, вытянулась и стала ещё тоньше.

Я подумал: нет, никакой аромат не соблазнит меня. Я выносливый, сильный, волевой. Об этом мне часто твердили взрослые. Если трону хоть один плод — позор!

Дорога становилась всё круче, острые камни больно впивались в ноги. Я устал. Сейчас проглотить бы хоть несколько капель прохладного сока кактуса,

и дорога показалась бы лёгкой. Но нет! Плоды эти для партизан!

Хотя бы по одному для каждого. Хотя бы по одному... По одному...

Сзади слышится сопение Коста. Я снова начинаю сердиться. И зачем ко мне приставили этого вислоухого? Уж не сомневаются ли в моей честности?! Но кто он сам? Мелкий воришка! Таскает свёклу с огородов. И он должен контролировать меня?!

Солнце опускалось всё ниже.

Я открыл мешок, проветрил кактусы. Коста заёрзал на месте. Что это он так уставился на меня?!

— Один потрескался очень, не испортится ли? — сказал Коста.



Я взглянул на плоды. Ну и кактусы! Краснущие, налитые. Что, если один поделить и съесть? Никто даже не заметит... Но нет... Мне не к лицу.

— Что, устал? — спросил я.

— Нет, иди, и я за тобой.

И снова слышу за спиной шелест его шагов. Он едва волочит ноги. Мне не надо оборачиваться, — я и без того знаю, что он не отрывает глаз от мешка.

Сам не понимаю, как это случилось, я опустил мешок на землю, обернулся и закричал:

— Что ты уставился, распустил слюни!

— И ты ведь смотришь? Оттого что смотришь, их не уменьшится.

— Когда я смотрел? Ты видел?

— Подымай! Посмотрим, кто первый захочет отдохнуть.

На этот раз я пожалел его и пошёл сзади. Идти нелегко, и не только потому, что груз теперь казался тяжелее. Мучительно было видеть, как вздрагивают плечи Коста, как спотыкаются о камни его тоненькие ноги, как он, обливаясь пóтом, покачивается из стороны в сторону.

Но Коста не останавливался. А мне не хотелось первому предлагать передохнуть. В конце концов я сдался: ноги стали подгибаться. Мы остановились.

В этот раз Коста не смотрел на мешок. Его лицо, с выступившими капельками пота, было бледным как мрамор. Бескровные тонкие губы дрожали.

— Коста, съедим по одному? — сказал я, испугавшись его вида. Сказал и рассердился на себя: «Под видом сочувствия хочешь сам насытиться!»

Но Коста отрицательно покачал головой.

Я покраснел от стыда — выходит, у него больше мужества.

Коста бессильно повалился на землю. «Придётся тут заночевать», — подумал я.

Наступил вечер. Я взглянул на Коста, и мне стало жутко. При свете луны он показался мне трупом. Ноздри его как-то неестественно расширились, скулы торчали, как острые края камня.

На другой день я едва живой дошёл до лагеря. Коста не дошёл!

Я принёс его бездыханное тело.

Врач осмотрел его и сказал, что он умер от голода.

С тех пор я не ем кактусы. Выращиваю их, продаю, но не ем.

Есть ли у меня родина?

Мустафа в свободное от занятий время нанимался грузчиком в гавани. Заработок у него был ничтожный. Только на хлеб и хватало. И тут неожиданно из деревни приехала племянница Жабрия. Босая, в длинном чёрном платье, она печально смотрела на Мустафу. По всему видно было, что девочку привело сюда несчастье.

— Они убили деда!

Жабрия, приникнув к плечу Мустафы, горько заплакала.

Он ласково погладил её по голове и задумался: «Коли беда стряслась, ничего не поправишь, но куда теперь деть эту несчастную крошку?»

Девочка жила всё время в деревне вместе с дедом. Дед был ей и отцом, и матерью, и единственным на всём белом свете нежным и ласковым другом.

В последнее время дедушка изменился. Стал рас-

сеянным, за обедом ел мало, неохотно. Курил, ворчал и всё ругал деревенского старосту:

— Да сломается твоя шея, лакей! Ну, прямо готов ноги лизать офицеру. И нам всё втолковывает: «Их благородие офицеры пришли защищать нашу свободу!» Мы, оказывается, должны быть благодарными за это. Ишь ты чего захотел, лакей безбородый!

В деревню приехали американские офицеры. Они собирались строить ракетные полигоны на кукурузном поле и для этой цели нанимали рабочих. Нашлись люди, которые пошли на службу к американцам. В основном это были бродяги, не знавшие, что такое земля.

Старых крестьян никакими силами не возможно было примирить с потерей кукурузного поля.

— Напрасно стараются,—говорил дед Жабрии,— тут я родился, тут гнул спину на пахоте. С детства кормит меня этот клочок земли. Отдать его пришельцам и на старости лет пойти по миру? Нет уж!..

Жабрия пыталась утешить деда. И он, чтобы не обидеть внучку, смолкал на минуту, но в следующее мгновение снова начинал ругать старосту:

— От кого они хотят меня защищать! Мне никто не угрожает. Мне нужна земля, её могут вырвать у меня только вместе с моим сердцем.

Несчастье случилось неожиданно. Дед не пришёл ночевать. Наутро Жабрия побежала на поле и нашла его мёртвым. Он был убит выстрелом из пистолета. Одной рукой старик вцепился в горло лежавшего рядом офицера, другой держал ком земли. Случилось это ночью, и американские солдаты ещё ничего не знали. Обезумевшая от горя Жабрия бросилась на окровавленную грудь деда и замерла.

В полдень явился староста, силой оторвал девочку от деда и прогнал... В эту же ночь по совету соседей Жабрия бежала в город.

— Они не оставят тебя в живых. Да и что ты тут будешь делать? Кто станет кормить тебя? У всех своих забот хватает. А город большой, даже милостыней там проживёшь, — говорили люди.

Да, город действительно большой. Но найдёт ли Мустафа для этой сироты угол?

Худенькая Жабрия с острыми плечиками, тонкой шеей, жиденькими косичками стояла сейчас, устремив на Мустафу покрасневшие от слёз глаза.

«Что делать? Как помочь девочке? В городе у них есть дальний родственник. Может, пойти к нему с поклоном? — подумал Мустафа. — Семья богатая, дом—полная чаша. Маленькая Жабрия не будет там в тягость. Только захочет ли этот родственник взять девочку? Он жадный человек».

Мустафа ни разу не обращался к нему с просьбой. Зикрие-эфенди — редактор какой-то проамериканской газеты, он даже дома не разговаривает по-турецки, а студентов называет бунтовщиками и смутьянами. Потому-то Мустафа не желал знаться с этим родственником, держался от него подальше.

Теперь, раз уж волей-неволей понадобилось встретиться с Зикрие-эфенди, Мустафа решил скрыть от него историю с дедом. Если узнает, наверняка не примет Жабрию.

И Мустафа сказал племяннице:

— Ты там не рассказывай про смерть дедушки... Не печаль наших родственников. Скажи, что приехала погостить, посмотреть Стамбул.

Жабрия согласилась.

Появление девочки в доме Зикрие-эфенди ничего

не изменило в жизни этой семьи. Её даже не замечали, словно была она не живым человеком, а бездушным предметом, вроде стула или занавески. Жабрие отвели одну из дальних комнат. Еду она получала из общей кухни, наравне со слугами, которых здесь было больше, чем хозяев. Девочке поставили единственное условие: вести себя тихо, не беспокоить родственников.

Но Жабрия в первую же ночь всполошила весь дом. Ей приснился офицер в зелёном берете, с пистолетом на боку, в коротких брюках, с волосатыми ногами. Жабрия закричала и проснулась. На крик прибежала служанка. Жабрия вцепилась в неё:

— Не уходите, боюсь я!

Наутро о случившемся никто не вспоминал. «Устала с дороги, — решили хозяева. — Привыкнет, успокоится».

Жабрия вышла полюбоваться городом. Дедушка всегда очень расхваливал Стамбул. «Когда вырастешь, я свезу тебя туда», — говорил он.

Сейчас она ходила по городу, большому, величественному, каким она и представляла его себе. Она могла идти куда угодно, любоваться всем, что понравится. Но шла она тихо, осторожно, словно что-то предчувствовала.

Очутившись на большой улице, она снова увидела того самого офицера в коротких брюках, в больших ботинках, с волосатыми икрами... Конечно, это был не тот офицер, но очень похожий на него. Жабрия испугалась, она пошла быстрее, не глядя на людей.

Вот площадь Баязет, вот узорные решётки парка Дулма, вот набережная Ататюрка...

Но офицер снова и снова преграждал ей дорогу.



Он занял весь город. То с грубым хохотом вываливался из бара, то, задрав вверх свои волосатые ноги в ботинках с толстыми подошвами, валялся в цветнике. Каждый раз, повстречав его, Жабрия менялась

в лице, тряслась от страха. Ей казалось, что офицер может выскочить из-за каждого дерева и напасть на неё.

Жабрия поспешила домой. Она была похожа на тяжело больного, обессиленного человека. Неподвижные глаза смотрели без выражения, на бледно-прозрачное лицо легла печаль душевных мук. Не поужинав, она рано легла. А ночью всё повторилось. На этот раз офицер был не живым, а мёртвым, с глубокими следами пальцев на страшно посиневшей шее.

— Если всё это с дороги, то ничего. Ну, а вдруг нечистая сила вселилась в неё? — тревожно говорили служанки.

На другой день Жабрия вернулась с прогулки ещё раньше. Около ворот башни Сулеймана она опять увидела офицера. Он ударил очень похожего на её деда старика, и тот упал. Жабрия повернула назад и побежала домой. Ей чудилось, что офицер гонится за ней. Жабрия долго бежала не оглядываясь. Когда иссякли последние силы, она, преодолевая страх, обернулась. И как только сердце её не разорвалось от ужаса: солдат действительно гнался за ней. Она побежала дальше. Что нужно этому солдату? Деда-то её он убил и зачем теперь ловит Жабрию?

Дома, забившись в свой угол, она затихла. Но и здесь перед её потускневшим взглядом снова появился тот же офицер. Злобно оскалившись, он смотрел на Жабрию. Она закричала.

Сбежались слуги. Теперь они окончательно решили, что в неё вселился «нечистый дух».

Пришёл и сам Зикрие-эфенди. Спросил, что с ней, чего она боится.

Тогда Жабрия вынуждена была рассказать господину всё: и о смерти деда, и об офицере.

Зикрие-эфенди выслушал девочку, играя тросточкой, и молча удалился.

Через час служанка дала ей в руки узелочек. В нём были хлеб, одно платье, пара галош.

— Ты уж, доченька, не возвращайся лучше, — прослезившись, сказала она и подтолкнула девочку к калитке.

Жабрия снова пришла к Мустафе. Он, видно, этого ждал и нисколько не удивился её появлению. Хотя волнения студентов в городе уже затихли, но здесь в общежитии беспрерывно продолжались споры, стоял шум, приходили и уходили люди, поэтому никто не обратил внимания на маленькую девочку...

«Видно, уж так на роду написано — где ни появлюсь, никто меня не замечает», — думала Жабрия. Ей разрешили жить в общежитии. Она быстро привыкла к студентам. Понемногу стала прислушиваться к их громким спорам.

Они много раз повторяли незнакомое слово «патриот».

Жабрия спросила:

— Мустафа, что такое «патриот»?

— Патриот — это человек, который всей душой любит родину, — ответил Мустафа.

— Мустафа, а у меня есть родина?

Мустафа задумался, затем ответил:

— Твоя родина — это деревня, где ты родилась, это город Стамбул! Ты должна любить свою родину!

Жабрия вспомнила офицера.

Но теперь она не боялась.

Теперь Жабрия знала, что она патриотка и Стамбул принадлежит ей.

Бюст Пушкина

Швецию называют красой Севера. Действительно, нигде нет таких прозрачно-зеркальных озёр, таких причудливых облаков, низко плывущих по лазурному небу, таких густых лесов, раскинутых прямо на скалах.

Столица страны расположена на живописных островах. Когда восходящее красноватое северное солнце рассеивает утренний туман, отчётливо вырисовываются изогнутые радугой ажурные мосты, соединяющие эти острова...

Я люблю природу. Она до боли волнует мою душу. Ступив на землю Швеции, я невольно подумал: «Какое счастье жить в таком раю!»

Но очень скоро я убедился, что не все тут одинаково радуются жизни. Иные этих красот природы не замечают вовсе.

В первый день приезда я познакомился с Клариссой — худенькой золотоволосой девочкой лет двенадцати. Простая, искренняя, она ещё не научилась скрывать своих чувств. И, даже не зная её языка, по глазам можно было понять всё: о чём она думает, что хочет сказать.

Мать Клариссы, Вероника Милославовна, — наша переводчица. Не без некоторого удивления я узнал, что она родом из Оренбурга, что ещё в детстве её увезли в Швецию.

Она хорошо одета. И туфли, и платье, и ожерелье подобраны со вкусом.

Каждый день она возит с нами свою девочку. Во время экскурсий мать и дочь сидят против нас, у микрофона. В лучах солнца, льющихся через верхнее стекло автобуса, золотятся волосы Клариссы. Ее го-

лубые глаза оживлённо поблёскивают, она частенько бросает взгляды на свою мать. Русская речь, как видно, звучит для неё странно, непонятно, и всё-таки, хмуря брови, она внимательно вслушивается.

Признаться, русский язык Вероники Милославовны производит странное впечатление. Это набор старокнижных, нелепо расцвеченных пышными оборотами фраз. Там, где надо просто сказать: «Взгляните налево, вот эта дорога ведёт к саду королевы», переводчица наша произносила: «Надеюсь, ваша милость, взглянет налево. Сия дорога, которую вы изволите теперь видеть, тянется до благословенных садов Её Величества».



Мы слушали её, едва сдерживая улыбку.

Автобус выехал за город. От поросших мхом скал веет дыханием осени. Вдали пламенеют багрянцем кленовые рощи, где-то впереди шумят волны Балтики.

Проезжаем через добрый десяток мостов. По обочинам дорог непрерывающимся потоком едут велосипедисты, среди них часто мелькают монахини в белых шапочках.

Когда голос Вероники Милославовны умолкает, каждый невольно предаётся своим думам.

Я смотрю на Кларису. Девочка, должно быть, души не чает в своей матери. Она ревниво относится к окружающим, словно кто-то угрожает её чувству, её привязанности.

По взгляду, по выражению лица матери девочка будто угадывает что-то лишь ей одной понятное. Она то гордится своей мамой, то беспокоится за неё.

Когда мы выехали за город, наши туристы запели «Уральскую рябинушку»:

Ой, рябина, рябинушка,
Что взгрустнула ты...

Песня эта в тихое утро северной осени, видимо, пробудила в душе Вероники Милославовны какие-то далёкие воспоминания. Глаза её наполнились грустью. Но очень быстро она, овладев собой, незаметным движением смахнула скатившуюся слезу и снова принялась за объяснения.

Я взглянул на Кларису. Она крепко сжала руку матери, со страхом и трепетом прильнула к ней, словно почувствовавший опасность оленёнок.

Я подозвал девочку и протянул ей подарок — ми-

ниатюрный бюст Пушкина. Клариса осторожно взяла его.

— О! Пушкин?! Спасибо!

Она произнесла это по-русски. Мать радостно улыбнулась и стала благодарить меня, употребляя и при этом архаичные слова и обороты.

Вероника Милославовна — женщина средних лет. Но выглядела она старше.

Глядя на мать и дочь, я подумал: единственная их радость в жизни — взаимная привязанность.

Ужинала Вероника Милославовна вместе с нами в ресторане.

— Мы дома не готовим, — сказала она, — в ресторане дёшево и удобно.

С её помощью мы заказали ужин по-шведски. Госпожа Кёнигс (это фамилия Вероники Милославовны) заговорила о себе, о том, что у неё умер муж, что дочь—единственная её привязанность, что Клариса «почти уже взрослая, что она умна и серьёзна». Она рассказала, что в основном работает в большом ателье какой-то фирмы и только во время отпуска занимается переводчицей.

— В нашем ателье можно найти ткани отличного качества,—начала она, точно стояла за прилавком.— Мы торгуем и за границей. Ассортимент нашей фирмы очень широкий. Я довольна своей работой. Господин Халлен, наш уважаемый шеф, верит мне...

Вероника Милославовна внезапно умолкла. Что-то тревожное замелькало в её взгляде. Она закурила папиросу.

— Как только Клариса подрастёт, господин Халлен обещал взять и её в ателье. О, это будет замечательно! Он по-отечески любит Кларису, проявляет заботу и милосердие...

Голос её снова осёкся. Какое-то смятение мелькнуло во взгляде. Она попыталась отвлечь наше внимание.

— Не заказать ли нам ещё вина? — произнесла Вероника Милославовна.

Она выпила рюмку вина, попудрилась и этим как бы стёрла печаль со своего лица. Но возбуждение было искусственным. И вообще чувствовалось, что жизнерадостность её была деланной, что подобное подбадривание необходимо ей, как необходимы и уверения насчёт будущего своей дочери. А по существу, она совершенно одинокий человек, и, может статься, наступит день, и она утонет в жестоких волнах борьбы за существование.

— Вы молчите, — снова заговорила она. — Да и что вы можете мне сказать. Я внушаю вам жалость — я это знаю. Только одно может служить оправданием моей жалкой жизни — я делаю всё, чтобы дочь была счастливей меня, чтобы у неё были деньги.

Внезапно Вероника Милославовна заплакала.

— Всё равно Кларисса не будет счастливой,—произнесла она сквозь слёзы. — Будет такой же, как я. Снова то же ателье. Господин Халлен. Унижение. Родины у неё нет, родного языка не знает. Она, возможно, будет даже несчастнее меня...

В этот момент в дверях появилась Клариса. Мать смахнула слёзы, попыталась даже улыбнуться.

Перевоплощение не удалось... Кларпса догадалась, что мать её плакала. Она метнула злой взгляд на нас. Развернула платочек и со стуком поставила передо мной бюст Пушкина. «Зачем вы обижаете мою маму?!» — кажется, хотела сказать она.

Клариса протянула руки, чтобы обнять мать, и вдруг... Вероника Милославовна дала дочери пощё-

чину. Мы были поражены. Всех охватило чувство неловкости. Через мгновение женщина устыдилась своего поступка. Растерянная, виноватая, она взяла скульптуру и прижала к себе девочку, дрожащими руками погладила её волосы.

— Простите, сударь, — обратилась она ко мне. — Признаться, со дня встречи с вами я потеряла покой, ночами не сплю. Кларпса волнуется. «Когда разговариваешь с русскими, с тобой всегда так бывает. Не ходи к ним...» — говорит она.

Мать ещё крепче прижала дочь.

— Глупенькая, что ты сделала? Разве можно так!.. — сказала она по-русски.

Кларпса долго с недоумением смотрела в глаза матери...

Многого она ещё не понимала: ни этих слёз, ни пощёчины, которую получила, наверное, впервые.

Встреча

Летом этого года мы с моим сыном Тимуром провели три недели в поездке по Волге. В пути у нас было много интересных впечатлений. Но одна встреча запомнилась особенно. О ней я и хочу рассказать.

Пароход «Пионер», оставив позади Куйбышевское море, подплыл к знаменитой гидроэлектростанции. Рёв низвергавшегося с плотины потока разносился далеко вокруг. Водяная пыль, взлетевшая из бурлящей кипени на огромную высоту, сверкала и переливалась, словно какое-то серебряное облако.

Чтобы попасть из моря в Волгу, пароход наш вошёл в один из шлюзов. Шлюз походил на большущий, наполненный водой ковш. В нём уже стояло несколько пароходов, плотов, парусных лодок.

Едва «Пионер» вошёл в шлюз, все туристы выбежали на палубу. По обе стороны от нас высились толстые цементные стены, позади и впереди — железные ворота. У ворот плескалась тёмная вода моря. На её поверхности, опрокинувшись белыми брюшками вверх, качались рыбы, убитые ударами лопастей парохода.

Верх стены слева ещё не покрыт бетоном: там двигаются краны, ходят рабочие.

— Папа, смотри, он пишет! — закричал Тимур.

Я обернулся. Около нашего парохода оказалась лодка. Налетавшие на стену волны так сильно качали её и подбрасывали, что казалось, вот-вот она опрокинется. В лодке я увидел молодого человека. Длинной и толстой кистью он действительно что-то писал на стене.

— Прочитай-ка! — попросил я.

— «Строим на ве...» —начал Тимур и запнулся.— Дальше он ещё не написал. А что он пишет? Папа, успеет он написать до того, как мы отплывём?

На этот вопрос трудно было ответить. Кто знает, долго ли простоит пароход в шлюзе. Буквы высотой в рост человека, выведенные красной краской, ярко выделялись на цементной стене.

Смеркалось. Над железными воротами зажглись мощные прожекторы. Я неотрывно смотрел на молодого человека в лодке. Его широкий лоб, густые рыжие брови, улыбка — словом, весь его чем-то располагавший к себе облик показался мне знакомым. Своими смеющимися глазами он то и дело погляды-

вал на нашу палубу. Я всё более убеждался, что где-то видел этого человека. Особенно знакомы глаза... Но где я встречал их? Когда? Недавно? В прошлом году? Или это воспоминание детства? А может быть, просто случайное сходство?

Парень снова взглянул на нас. Кто-то с палубы спросил его о чём-то, он, смеясь, ответил. Теперь уже не было сомнения — я знал этого человека. Вот только откуда?

Я думал с таким напряжением, что стало ломить виски, но вспомнить никак не мог.

Вода в шлюзе начала спадать. За несколько минут пароходы, лодки опустились на двадцать пять метров. Под нами по-прежнему бились волны, но это были уже не морские волны, а волжские. Мы опустились до уровня поверхности реки. Теперь стена рядом с нами казалась нависающей откуда-то сверху. По ней, обдавая нас холодком, стекала вода. Мы словно бы очутились на дне глубокого колодца.

Тимур задрал голову, да так, что с головы его упала тюбетейка, и закричал:

— Папа, смотри, он уже дописал!

Все, кто был на палубе, прочли: «Строим на века!»

Строим на века! Воистину так! И каждый человек, увидевший плотину Куйбышевской гидростанции, семиметровой толщины стены шлюза, схожие с высокими горами, убедился бы, что всё это построено на века! На века! Иначе и быть не могло. Люди, воздвигшие такие гиганты, не могли не обладать великой верой в будущее.

Перед нами распахнулись высокие железные ворота, и «Пионер», пройдя через них, поплыл по сверкающему водному раздолью красавицы Волги.

— Вот он! Вот он! — закричал Тимур, мысли которого, должно быть, также были заняты тем самым молодым человеком, что начертал замечательные слова.

Несколько отдалившись от бетонной стены, он вводил свою лодку в волны, образованные нашим пароходом. В лучах прожектора я в последний раз увидел улыбающееся лицо юноши и снова подумал: «Кто он? Откуда я знаю его?»

Из-за знаменитых Жигулей, покрытых вечнозелёными елями, выплыла полная луна, и на глади широкой, величавой Волги засеребрились рябью лунные тропки. Мимо нас, напевая под нежные, задумчивые звуки гармоники, проплыли лесосплавщики. На носу плота ярко горел маленький костёр. Под отвесными берегами реки качались рыбачьи лодки.

К рассвету пароход наш уже подплывал к Куйбышеву. Я смотрел на яркие огни города, на закованные в мрамор берега и по-прежнему всё думал: «Где я его видел? Знаком он мне или это только случайное сходство?»

Нет! Я видел этого юношу. Он знаком мне. Когда наш пароход приблизился к пристани, вдруг — уж и не знаю почему — я вспомнил всё. Даже имя его вспомнил. Человека этого звали Петро Караченко.

Передо мной всплыло прошлое.

...1942 год. Украина и Белоруссия захвачены врагами. Сотни детей-сирот, родители которых пали в битве с фашистами или были угнаны в рабство, эшелонами прибывали в Ташкент. Наши престарелые отцы и матери брали в свои семьи этих детей, отдавали им тепло своих сердец. Было открыто много детских домов. Но не хватало хлеба, одежды, топлива...

В те дни писатели задумали устроить в городе большой литературный вечер. Обычно литературные вечера проводились бесплатно, но в этот раз решили продавать билеты, а вырученные таким образом деньги отдать подшефному детскому дому.

Дети Ташкента хорошо знают площадь Шевченко, где находится двухэтажное здание университета. Для проведения литературного вечера нам предоставили большой актовый зал.

В городе были развешаны афиши, извещавшие о вечере, о том, что в нём примут участие Алексей Толстой, Гафур Гулям, Хамид Алимджан...

Мне, тогда ещё молодому писателю, поручили продавать билеты.

Я принялся за дело. Но билеты шли плохо. За час я продал всего четырнадцать билетов.

Я расстроился: «Что делать?»

На площади народу было много. Одни стояли в очереди за рыбой, другие что-то продавали, третьи взволнованно обсуждали события на фронте.

«До литературного ли вечера людям в такую пору?» — подумал я.

И вдруг меня словно осенило. Я вбежал в зал. Занавес был раздвинут. Я поднялся на сцену, подключил находившийся там микрофон к громкоговорителю на площади и начал читать стихотворение Гафура Гуляма «Ты не сирота», которое в то время народ знал наизусть.

Разве ты сирота?
Успокойся, родной!
Словно доброе солнце,
Склонясь над тобой,

Материнской
Глубокой
Любовью полна,
Бережёт твоё детство
Большая страна.
Здесь ты дома,
Здесь я стерегу твой покой,
Спи, кусочек души моей,
Маленький мой!

Помню, я до того разволновался, что на глазах моих выступили слёзы.

Спи спокойно, мой сын,
Скоро кончится ночь!
Спи спокойно, мой сын,
В нашем доме большом.
Скоро утро придёт,
И опять за окном
Зацветут золотые тюльпаны
Зарниц.

Когда я вернулся ко входу, глазам своим не поверил: очереди за билетами не было конца. Женщины, старики, дети. Я едва успевал отрывать билеты. Большой зал за полчаса был переполнен.

Хамида Алимджана в чтении стихов все люди сравнивали с Маяковским. И впрямь, когда он поднялся на трибуну, в холодном, полутёмном зале как будто потеплело, посветлело.

После него вышел Алексей Толстой.

Я, как сейчас, вижу светлый облик этого большого русского писателя, великого мастера слова. Широкий, открытый лоб, умные, проницательные глаза. Даже голос его был какой-то особенный.

Отпив глоток холодного чая из термоса, который он постоянно носил, как флягу, на поясе, Алексей Толстой начал читать отрывок из новой пьесы. Люди были очень взволнованы.

Я чувствовал себя безмерно счастливым: во-первых, мы собрали много денег, а во-вторых, я видел самого Алексея Толстого.

На следующий день мы отправились в детский дом. Его открыли всего три-четыре дня назад.

Я сам вырос в детском доме, но то, что я увидел сейчас, до боли сжало мне сердце. Дети большие и маленькие, притаившись по углам, смотрели оттуда полными страха глазёнками. Они боялись людей и даже сторонились друг друга.

Если где-нибудь внезапно возникал шум, ребята с пронзительными криками бросались на землю, при появлении обычного самолёта многие, обезумев от ужаса, прятались под скамейки и кровати, откуда их не скоро удавалось выманить.

— Дети всё ещё под впечатлением бомбардировок, — со слезами на глазах проговорила воспитательница. — Их даже к еде не тянет. А ведь все они истощены голодом...

— Все без родителей?

— Да... Некоторые даже имена свои забыли. Погладишь иную девочку по головке, спросишь, как зовут, а она вскрикивает от испуга. Другие плачут всё время. А есть и такие, что плакать не могут — слёз нет...

Я поманил одного мальчика — он не подошёл. Вместо него ко мне направился другой, поживее, посмелее. И тут я обомлел от ужаса. Вы не поверите! Своими глазами я видел девяти-десятилетнего мальчика с седой головой.

Даже сейчас, как вспомню его, к горлу подступает комок. Не знаю, как мне тогда удалось разговориться с ним.

Он, видно, привык к тому, что все удивляются его седине, поэтому сам первый объяснил:

— И папу, и маму, и сестру фашисты увели из дому. А я спрятался под печь. Утром вышел во двор и вижу: фашисты повесили их прямо во дворе: папу, маму и сестру. В тот день один наш пацан, увидев меня, вытаращил глаза, затем крикнул: «Петька, ты седой!» — и от испуга убежал. Вот когда я поседел. Вы не бойтесь: я мальчик, Петро.

— Я не боюсь тебя, Петро. Ты хороший мальчик, ты мне нравишься. Как твоя фамилия?

— Петро Караченко! — ответил он и попытался улыбнуться.

Морщинки разбежались по лицу, и в его грустной улыбке я прочёл всё страшное горе мальчика и его тоску по ласке и теплу.

Я запомнил это лицо.

И вот снова улыбка — теперь светлая, счастливая и такая душевная. Это он — мальчик, вернувшийся из далёкого сорок второго года. Петро Караченко! Я не мог ошибиться. Только теперь вместо седой головы пышная шевелюра золотисто-рыжих волос! И лицо мужественное, загорелое. Твёрдой рукой он выводил на стене шлюза слова: «Строим на века!» Боль, запавшая в мою душу в давние военные годы, исчезла, и как-то необычайно легко и радостно почувствовал я себя.

Я обнял Тимура.

— Знаешь, кто этот юноша? Петро Караченко! Это он! — произнёс я.

— А кто такой Петро Караченко? — удивлённо спросил Тимур.

Да, он ведь ничего не знает. В то время ещё не было ни Тимура, ни вас, мои юные друзья. Вы не испытали горя и трудностей тех далёких лет. И хорошо, что не испытали. Но, кто такой Петро Караченко, вы должны знать.

Он строит коммунизм. Он создаёт гиганты, создаёт их на века, для мира, чтобы никто из детей не испытал такого горя, какое выпало на долю его детства.

СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
Москва, А-47, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.

Для младшего возраста

Аскад Мухтар

У ВСЕХ СВОЯ РОДИНА

Ответственный редактор Р. Д. Кафриэлянц. Художественный редактор А. В. Пацина. Технический редактор Т. М. Страхова. Корректоры Л. И. Гуоева и З. С. Ульянова. Сдано в набор 24/VIII 1964 г. Подписано к печати 28/X 1964 г. Формат 60X84$^1/_{16}$. Печ. л. 6. Усл. печ. л. 5,47. Уч.-изд. л. 3,93. Тираж 75 000 экз. ТП 1964 № 399. Цена 24 коп. Издательство „Детская литература“. Москва, М. Черкасский пер., 1. Фабрика „Детская книга“ № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по печати. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 1055.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

По разделу литературы народов СССР в 1964 году издаются следующие книги для детей младшего школьного возраста:

БАРТУШКАЙТЕ В.

ДНЕВНИК ПИОНЕРКИ.

Устами литовской девочки Саулите в этой повести рассказывается о том, как живут её одноклассники — пионеры.
Перевод с литовского

САНГИ В.

СЕМИПЁРАЯ ПТИЦА.

Нивхи — малочисленный народ, проживающий на советском Дальнем Востоке. До Октября этот народ был обречён на вымирание. Иной стала их жизнь теперь. Владимир Санги одним из первых нивхов стал писателем. В этой книге он рассказывает о детях сахалинских рыбаков, об их смелости, отваге и большой любви к природе.
Перевод с нивхского

ИОСЕЛИАНИ О.

ЗА ДЕВЯТЬЮ ГОРАМИ.

Этими словами начинались обычно сказки, которые рассказывал ребятам один из героев этой повести. Случилось так, что все они — и ребята и взрослые — однажды отправились в путешествие в высокогорную Сванетию. Красота природы, полная событий и настоящей романтики жизнь взрослых и юных обитателей этого удивительного уголка нашей Родины превзошли все сказки.
Перевод с грузинского.

Эти книги по мере выхода в свет можно приобрести в магазинах Книготорга и потребкооперации. Книги высылаются также по почте наложенным платежом отделом «Книга — почтой» областных, краевых и республиканских книготоргов.


Цена 24 [illegible]